Николай ДИМЧЕВСКИЙ

ЛИКИ ЖИЗНИ

ООО «ИНТЕРАГРО»
Санкт-Петербург
2013

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
Д 67

Николай Димчевский

Д 67 Лики жизни. СПб.: ООО «ИНТЕРАГРО». 2013. – 320 с.

ISBN 978-5-9904884-1-0

Стихи сборника «Лики жизни» Н. В. Димчевского (1926–2002) отражают все грани жизни простого человека, увиденные и пережитые от юности до зрелого возраста. Они возникают под пером мастера, давая представление о том времени, в котором он жил и работал: красота родной природы, среда обитания, любовь, семья, бескрайность Отечества, достижения людей и пороки общества.

Поэтические образы автора созвучны мыслям и думам человека нашего времени, кому небезразлична собственная судьба и судьба его Родины – в них искренность и гражданская позиция поэта.

Ранее опубликованы поэтические сборники: «Прорубь» (1968), «Краски севера» (1972), «Облик странствий» (1976), «Можжевеловый корень» (1983), «Рождение рек» (1989), «Сон о птице» (1996), «Осенние карусели» (2000), «Семерик стихов» (2009).

А также проза – «Калитка в синеву» (1968), «Июль на краю света» (1970), «Летний снег по склонам» (1977), «Вечное чудодейство» (1981), «В пору скошенных трав» (1990), «Фантом столетия» (2010).

Николай Димчевский
ЛИКИ ЖИЗНИ

Художественное оформление *Нина Рассадина*
Корректор *Татьяна Зорина*
Верстка *Вероника Саченко*

ООО «ИНТЕРАГРО».
119049, Москва, 2-й Спасоналивковский переулок, д. 6.

Подписано в печать 01.08.2013.
Формат 84×108/32. Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.
Тираж 300 экз. Заказ № .

Первая Академическая типография «Наука».
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., 12/28.

ISBN 978-5-9904884-1-0

© Бабаева Е. Н., 2013

Посвящаю издание этой книги
светлой памяти моего отца Николая Димчевского.

Екатерина

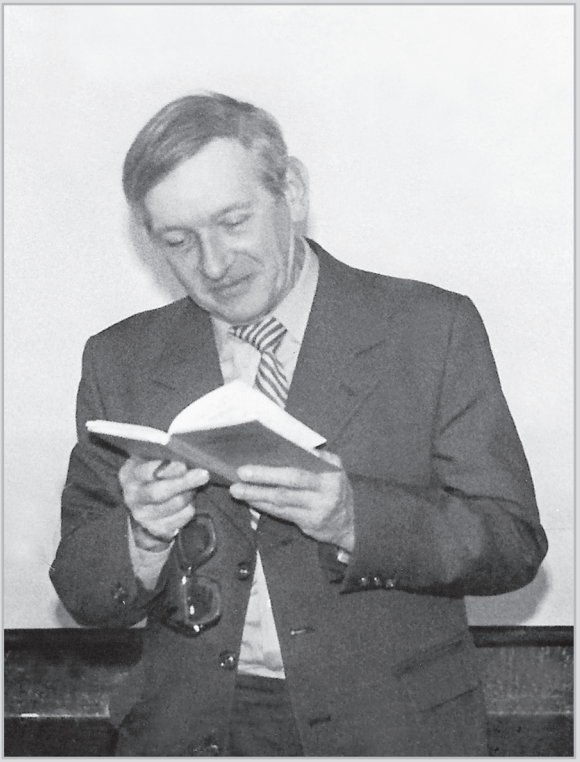
Об авторе

Как метко заметили знавшие его: «Николай Димчевский – неразгаданный писатель нашего времени. Талантливый поэт, прочувствовавший XX век с невероятной любовью, нежностью и скорбью. Лирический философ, для которого искренность была самым важным, а слова Человек, Гражданин – самыми главными».

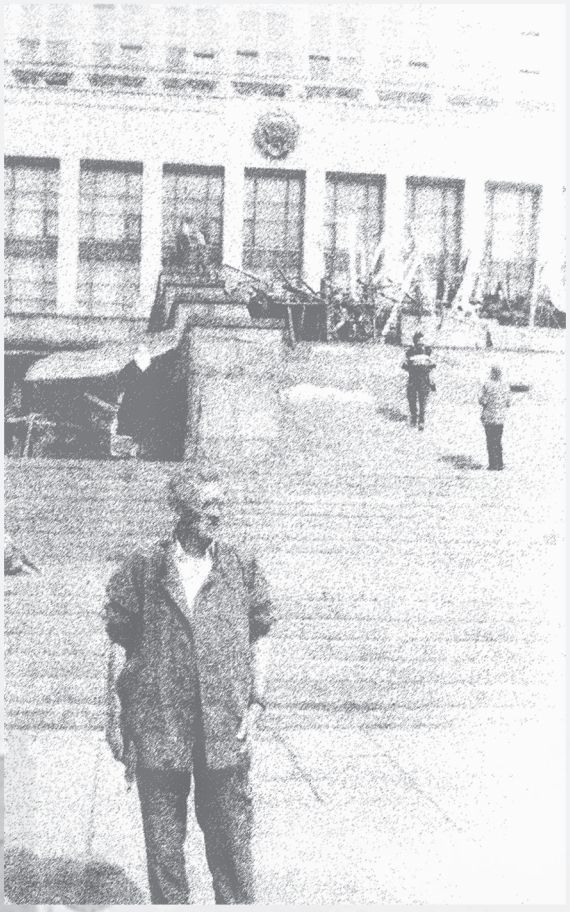
Философ по образованию (МГУ); член Союза писателей, много лет – заместитель главного редактора книжного издательства «Советская Россия» – это по общественному признанию; писатель, поэт – по призванию; путешественник и искатель – по зову души. Сам он считал основной своей работой литературную деятельность. Такое органичное сочетание талантов, как у него, встречается крайне редко: помимо сочинительства он мастерски занимался резьбой по дереву, и даже выставлялся, имел призы, и писал вполне профессиональные пейзажи маслом и акварелью.

В жизни и в творчестве относился к себе предельно строго. А стихи его рождались чаще всего не за письменным столом. По журналистской работе и беспокойности своей души много путешествовал и стал самоотверженным поклонником и бытописателем русского Севера, Сибири, Дальнего Востока... Он не мог жить без движения. Ходил на тральщиках в Баренцевом море, кочевал с пастухами по тундре Полярного Урала, на танкере прошел по Лене «вдоль марсиански-пустынного Верхоянского хребта» до Тикси, с пограничным кораблем – мимо Сахалина, Курил, Камчатки – на Чукотку, было и Беринго во море, и остров Ратманова... Как и люди, работающие в столь суровых условиях, необозримые просторы страны вобрали в себя его стихи. Он писал о том, что видел и пережил сам, о том, что покорило его самого. В его стихах просматривается характерная только для него своя образная система – он писал их с натуры, как этюды. Поэтому по-настоящему ощутимо «на вкус» его восприятие природы, ритмов жизни, радости бытия, поражают раздумья о судьбе простого человека и о времени, об обычных вещах и общечеловеческих проблемах, которые сопровождают нас по жизни. Чувство напряженной связи настоящего с прошлым не покидает его, он ощущает свою причастность к ходу истории и людским деяниям и необходимость отразить это в стихах.

Прочитав сборник, и вы, читатель, почувствуете эти мотивы, которые, возможно, волнуют и вас, потому что стихи Н. В. Димчевского о нас с вами, о нашем обществе и нашей жизни, а эти ценности вне времени.



НЕСКОЛЬКО ВСТУПЛЕНИЙ К ТЕМЕ ЖИЗНИ



ДВА ДЕЛА

В кругах земных,
где судьбы вихрем вертит,
есть дело жизни,
и есть дело смерти.

И человеку
в гонке обалделой
дано вершить
два этих вечных дела.

И сущее,
куда его не втисни,
предстанет
делом
смерти
или
жизни.

СТАТЬ НАЧАЛОМ

Стать началом –
желание женщины
и всех остальных, кто причастен к рукомеслу и художеству,
сущим в мире
издревле и днесь, и вовеки!

Счастлив, ставший началом,
чей ребенок
закричал в трудный час,
чью ладонь
отягчило зерно при посеве и жатве,
кто краски находит, в которых – рождение целого мира
и чье имя становится именем новой вселенной,
кто пускает станок
и режет, шлифует и точит
винт один тот же самый в бесконечном повторе,
винт один тот же самый –
день и ночь, и неделю, и месяц, и годы,
винт один тот же самый,
на котором стоит Индустрия.

Воистину счастлив
тот,
кто смог стать началом!

Но никто никогда
ни в художестве, ни в рукомеслах, ни в мысли
не изведает радости женщины,
приобщенной к началу начал,
к тому крику в утренний час,
от которого тянется счет всех веков человечества,
к тому лику,

где пращура облик и родительские черты
растворены в незнакомом и новом лице,
к первому слову –
истоку всех языков,
к первому шагу грядущего поколенья по дороге
в будущий мир.

Стать началом!

ВОСТОЧНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ О ЖИЗНИ

Жизнь человека – это сад,
где злые яблоки висят
и зреют гроздья грозных бед
от зорь и до заката лет.

В давильне выжмешь терпкий сок,
и горечь – как удар в висок.
И в каждой капле – память зла,
что жизнь сквозь сад твой пронесла.

ЖИЗНЬ

Она словно ком нутряного довольства,
избытка природного яростный ком,
дородство несет,
как кувшин детородства,
налитый тяжелым тугим молоком.

Плоды всей земли –
дыни,
перья бананов,
картофеля клубни
и яблок бока –
повторы, подобия линии стана
и крепкого вкуса ее молока.

В пещерах и гнездах, и глинистых норах
детеныши
жадною жизнью живут –
в них зреет и крепнет ухватистый норов –
созреть и уйти из родительских пут.

Уйти к вечной жажде зверья и растений,
немолкнущей жажде плодящих плодов:
плодиться,
приплоды нести
через время,
кувшин детородства
сквозь чащу миров!

ЖИЗНЬ И ВЕЧНОСТЬ

Над мудрыми и стоеросовыми,
над тем, кто сыт и кто не сыт,
Вселенная скрипит колесами
своих немазаных орбит.

И катятся телеги шалые
без лошадей и кучеров,
хрястя осями и раскалывая
булыжник прожитых веков.

И набок валятся империи,
летят эпохи под раскат!
Орлов и кур мешая перья,
перины с флагами летят!

Все в свалку, в заваль, в запыление.
Равновелики храм и хлам,
когда взбешенная Вселенная
ломает вечность пополам!

КНИГА ЖИЗНИ

На лицах, точно в книге для приезжих,
все оставляет подпись или след.
Совсем недолго, пока детство брезжит,
чиста страница и помарок нет.

Но вот раздумье, первое по счету,
лоб прорезает ниточкой прямой,
потом приходят властные заботы –
у каждой
норов свой и почерк свой.

А дальше годы ставят отпечатки,
ложится желтизна и впалость щек,
и страсть свой росчерк оставляет хваткий,
исписывая за листком листок.

Между морщин, изогнутых и сложных,
пора усталости, тщеславия и зла
свой мелкий бисер сеет осторожно,
сводя все подписи к запутанным узлам.

И кажется –
нет места на страницах,
исчерченных заржавленным пером...

Но книга все равно для подписей годится,
и новые жильцы въезжают в старый дом.



I.

ГЛАЗА ДЕТСТВА



* * *

Утром,
когда чист рассвет и лист весенний липок,
воробьи пиликают на сотне детских скрипок,
веселье бесшабашное в песенке простецкой, –
для скрипки переложены
частушки
и «елецкий».

И сто смычков неловких
выводят неумело
о мимолетной радости – пожить на свете белом.

И сотня тонких перьев
скрипит по листьям клейким
грошовую мелодию –
листочек по копейке.

Веселость желтоклювая
без повода и смысла
во всех дворах разбросана,
на всех сучках повисла!

ПРОДОЛЖЕНИЯ

Продолжение ласки,
продолжение взгляда,
продолжение рук, обнимающих плечи,
продолжение всех продолжений –
тревожная наша отрада,
наше сердце вне нас,
долгожданный,
нежданно-негаданный человечек!

Продолжение притяженья,
ломающего расстоянья,
чтобы слить воедино
и плотскую радость,
и души.
Остаются в ребенке лишь встречи,
в нем нет расставанья,
он и сам, словно встреча с далеким грядущим.

Продолжаемся в нем,
с ним идем к недоступным пределам
и себя отдаем
продолженьям его продолжений.
Чтоб сквозь толщу столетий смотрели глаза
и ликующим телом
утверждался в веках
продолжения вечного гений!

ПОГЛОЩЕНЬЕ

Поглощена до волосков бровей,
поглощена по горло поглощеньем,
сосет со всхлипом,
тянет все жадней,
взахлеб вбирает теплое теченье.

Ручонками – в тугой бурдюк груди.
Насосик губ – в немолкнущей работе.
И молоко по горлышку гудит,
и мир в могучем молоковороте.

Как будто две вселенных –
дочь и мать,
и млечный путь связал их воедино.
Для них судьба – друг друга дополнять,
с двойной судьбой вступая в поединок.

О музыка начала всех начал –
всхлип голода
и радость насыщенья!
Неистовый мотив твой прозвучал,
лаская слух и ублажая зренье!

Невиданной разнузданности взлет,
неслыханный размах чревоугодия!
Пир из пиров –
младенец грудь сосет.
Найдется ль грандиознее мелодия!

ОТКРОВЕНИЯ

Откровенье
без слов и до слов.
Только звуки и чувство.
Голосок и сердечко согласно звучат.
Если радостно – радость,
обида – так гневно и густо.
Изощренный актер лучше скажет навряд!

На кроватке стоит.
Голодна –
каша медленно стынет...
Сколько искреннего нетерпенья
звучит в голоске и в груди!
Что пророк,
вопиющий о манне в пустыне!
Бросив все,
прибежал бы он
манную кашу студить!

А смеется –
звенит потолок!
В коридоре, на улице –
смех нашей крохи.
Разливанным весельем одарит, не ведая, всех!
Что там клоуны и смехачи,
что петрушечники-скоморохи!
По сравнению с крохой –
зевота у них, а не смех.

Скажет: «ги...»
Скажет: «ге...»
Скажет «гель...»
Не слова еще, все же

в каждом мысли на целый словарь.
«Ге» и «гель» – это «Гегель», быть может,
царь всея диалектики,
мысли мятущейся царь!

Односложность
и придых,
и вскрик,
бормотанье и слезы –
все от сердца,
во всем – откровенье души.

Ну, попробуй –
вот так, без сокрытья и позы,
о себе и о мире своем
напиши!

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ

Ест кашу.
Торжественно, словно совершает священнодействие.
Личико в размазанной манке,
будто в ритуальной маске.

Смотрит в пространство,
(а может быть, внутрь себя?),
взглядом так же, как язычком, горлышком и всем телом
оценивая и принимая кашу –
лучшее из всего существующего сейчас во вселенной.

Личико спокойно и полно довольства.
На кого же похожа сейчас малышка?
На кого же?..
Да вот ведь на кого –
на Будду!
Спокойное довольство,
как погружение в нирвану,
как созерцание источника жизни –
сладкой манной каши,
важнее которой сейчас нет ничего на свете.

Торжественно открывает ротик,
принимает ложку,
медленно, со смаком проглатывает содержимое.
Ротик движется, по губам и щекам течет излишек.
Но глаза неподвижны, серьезны, устремлены вглубь и вдаль.

Происходит величайшее таинство
построения и роста маленького человека.
Он сам себя строит и растит
из манки, молока и сахара.
Это сложней, чем возникновение новой галактики.

Поэтому так серьезно и самоуглубленно испачканное личико...

Но вот глаза начинают бегать,
голова отворачивается от ложки,
губы произносят сквозь наплывы каши:
«Бе-е-е!»

Ритуал окончен.
Маска стирается полотенцем.
Серьезности и торжественности как не бывало.
Начинаются «ладушки».

* * *

Для нее нет мелочей,
для нее все важно, все значительно,
все захватывает целиком.

Среди песка и хвои
разглядывает муравья:
глазки бегут вслед за его беспокойным движением,
шейка вытягивается,
губки собираются в дудочку.
Во всем мире сейчас есть один Муравей.

Когда весело и вокруг знакомые люди –
начинает плясать:
расставляет ручки и слегка приседает на полусогнутых ножках.
Взрослые хлопают в ладоши и подпевают.
Но она никого уже не видит –
старательно приседает.
Личико сосредоточенно,
ротик увлеченно раскрылся, и виден кончик языка,
глаза – чистая радость.
Заглянешь в них
и видишь – сейчас на всем свете –
одна радостная пляска,
всё кругом пляшет, и все пляшут.

А вот садится на горшок.
Замирает.
На лице самоуглубленность мыслителя.
Будто прислушивается к чему-то грандиозному,
происходящему в недрах земли.
Напряжение нарастает,
взгляд отрешен,

ничто не может отвлечь от углубленного ожидания
события, равного извержению вулкана.
Так и ждешь пророчества,
от которого зависят судьбы народов.

И в этот миг
серьезность сменяется улыбкой облегчения.
Малышка вскакивает со стульчика
и торжествующе указывает на горшок.
Свершилось!
Все глядите, как замечательно удалось
одно из самых трудных дел!

Смотришь на нее
и начинаешь понимать:
в мире нет мелочей,
мир полон вещей, настроений и чувств,
которые достойны
всего внимания,
всей увлеченности,
всего сердца.

В мире нет мелочей.

* * *

Она спит в коляске.
Над ней мохнатится ель, пришедшая сюда из давних времен.
По веткам, увешанным зелеными шкурами,
снует белка,
и кажется – это челнок, ткущий сон.
Весь лес в густом бархате сна.

И узелок, на котором держится эта тихая ткань, –
лицо малышки:
щечки зарозовели от сна, солнца и прозрачной смолы, пропитавшей
воздух,
губки слегка вытягиваются,
ресницы чуть приметно вздрагивают,
пальчики сжимают перо зяблика, упавшее в коляску.

Дитя человека
здесь – как порожденье вековой ели,
выпестованное белкой, зябликом, лесом и небом.

Пока
ничто не отделяет его от них.

С дороги неподалеку –
гул невидимых машин, сотрясающих смолистый воздух.
Но это уже другой мир, к которому девочка, ель и белка непричастны.

* * *

Два мира со мной.
Один я несу на плечах –
это дочь.
Она держится за мое ухо и за подбородок.
Другой – весенний лес вокруг нас.
Он обнимает ёлочной сыростью
и почти неуловимой горечью разбуженной березы.
Дочь – мир удивленья.
Лес – удивительный мир.

Мы долго идем по тропе.
Сначала дочь громко разговаривает, поет, читает стишки,
дергает меня за уши, за волосы, хохочет –
она видит одного меня и чувствует лишь свою радость.

Потом она умолкает,
слышится ее дыхание и посапыванье,
подбородочек упирается мне в макушку.
– Уснула, что ль? – спрашиваю ее.
– Нет, ля посто молчу.
Поворачиваюсь к ней и вижу ее глаза.
Я ждал сонных щелок,
а у нее глаза распахнуты, и незнакомая серьезность
полнит их.

Она смотрит вокруг,
она забыла обо мне и о себе...
Она смотрит.
Впервые смотрит сама на лесной мир.
Я ни о чем больше не спрашиваю.
Мы идем по краю оврага, заросшего старыми елями.
Там, над моей головой, – ее глаза и ее растущий мир,
ее жизнь, удаляющаяся от меня.

Дочь впервые за свои два года так серьезно сказала:
«Я просто молчу».

Сейчас там, в вышине,
мир леса и мир дочери
соединяются,
и рождается удивленная мысль маленького человека.
И вся наша вселенная становится богаче.
И это чудо вершится над моей головой!

Вдруг она сжимает мой лоб руками и тихонько говорит нараспев:
– Бел-ка... Бел-ка...
Я слышу ее голос, но еще не понимаю ее, мне кажется –
она поет это слово,
она не может сама увидеть белку –
ведь я тоже смотрю вокруг и не вижу белки...
– Белка,
белка,
белка! –
говорит дочь и за уши поворачивает мою голову.
И я вижу:
в корнях ели, на земле, шастает белочка.
Я останавливаюсь.
Мы смотрим на белку.
Просто смотрим на белку и просто молчим.

* * *

Передвижение с детьми на поездах
в мушиной липкой духоте,
в кошмаре
набитых станций,
в парной,
мочой разящей духоте вагонов.

Замурзанная соска
и бутылка в потеках синих молока.

Грудь матери,
соленая от пота.

Замусленная корка
и печенье, затертое на угольном полу.

Испачканная рожица.
Ручонка,
липучая от сохлого повидла,
и голубые ползунки,
слинявшие от пыли и от сора.

Болячка на щеке,
на темени короста,
опрелые подмышки...

Но глаза!
Глаза чисты, как росяные капли.
И в них – начало мира,
и познанье
вселенной
через этот уголок
вагона, провонявшего мочой,

и через мух в прокисшей духоте,
и через краешек окна,
где за стеклом
раскручивается
и уплывает
великий жернов светлого простора.

* * *

Там, на лугу среди теплых цветов, извилистых трав
и синевы – девочка.
Она бежит по лугу, разбрызгивая кузнечиков.
В ее руках – корзинка, отштампованная из пластмассы,
в корзинке – пластмассовая ромашка.
Девочка придерживает рукой свой неживой цветок.

И мне показалось – девочка слепая.
И мне почудилось – вместо сердца у нее моторчик.
И мне подумалось – кто-то невидимый управляет ею по радио.
И мне сделалось жаль ее.

Она равнодушно проходила мимо живых теплых цветов,
мимо кузнечиков,
сжимая в руке бездушный кусочек синтетики,
превращенный
машиной в подобие ромашки.

Я представил на миг,
что луг – это декорация:
травы и цветы сделаны из цветного полистирола,
все искусно залито голубым плексигласом,
и внутри
движется пластмассовая куколка с корзиночкой в руке...

Все, как настоящее,
все, как живое,
и поэтому
все такое страшное, такое безнадежно-убогое,
такое нечеловеческое.

* * *

Спящий ребенок
и дождь этот, сонно бубнящий,
весенние стрелы растений,
тугие кубышки бутонов
и брызги густых лепестков...

Как ладно все соединилось!

Бутоны, ростки и ребенок,
и сон дождевой –
все начала
земли
и земных превращений,
начала семян и судеб.

* * *

Было солнце
И гор голубая гребенка.
Птицы
скоком косым по ореху скакали.
А внизу,
в светлом доме,
весь день истязали ребенка.
И ребенок не плакал,
но плакали птицы и камни.

Он их краешком глаза рассматривал изредка...
Было
ему странно, что птицы и камни живут, как желают.
Ему дергало пальцы и спину, и шею сводило.
Он терпел,
потому что ведь иначе не бывает.

Эта мука была для него изначальна.
Он не знал, для чего она
и почему так жестоки с ним люди.
Он противился раньше,
теперь же
с покорным молчаньем
принимал то, что было, что есть и что будет.

К истязанью ребенок давно был приучен.
Он орудия пытки с утра извлекал из футляра.
И смычок натирал канифолью,
и струны подкручивал круче...
Лишь от первого звука он вздрагивал, как от удара.

* * *

Медали чеканят для того,
чтоб они, отливающие золотом, звенели на груди солдата в День Победы,
чтобы потом их долго хранили в сундуке среди занафталиненных вещей,
в ящике стола, в коробочке, заложенной в дальний уголок,
в старом комоде, выставленном в переднюю, –
там лежат они, полузабытые, ожидая больших праздников и годовщин.
Медали чеканят для того,
чтобы их собирали коллекционеры, завертывали в папиросную бумагу
и укладывали в отделениях специально приспособленного
для этого секретера.
Медали чеканятся для того,
чтобы многие годы лежать в витрине музея, останавливая на себе
почтительные глаза экскурсантов и изучающие взгляды знатоков.

Но самое главное:
медали чеканят для того,
чтоб через десятилетья
их, позеленевших, разбитых и смятых,
находили мальчишки
и спрашивали:
«Дедушка, что это за деньга?»
И дедушка отвечал бы:
«Это не деньга, малыш, это медаль за взятие Берлина».

И мальчишка впервые ощутил бы на щеках дыхание Истории.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

В этом доме
пиликают стертые скрипки,
и рояли разбито бренчат,
как трамваи.
Здесь гармонии грубы,
мелодии хлипки...
А в округе все жители
слух и терпенье давно надорвали.

И кишат на крутых этажах,
и кружат, и кричат, и бранятся –
здесь, в преддверии музыки,
тут, в прихожей у муз...

Дальше их не пропустят,
да и сами они не стремятся –
не для них груз открытий
и славы, и творчества груз...

Поколения маленьких варваров,
терзающих инструменты,
продираются ордами
через ад этот сущий,
чтобы, может быть, где-то в отсеве столетий,
мелькнул искрометным моментом
лишь один удивленный талант,
удивление людям несущий.

* * *

Природа так же наивна, как ребенок.
Она доверчиво принимает все, что ей дают взрослые,
она не знает и не думает о последствиях.

Она глотает дым автомобилей и заводов,
принимает сточные воды в свои реки
и нефть – в моря.

Она заболевает по вине взрослых,
и ее опустошенные земли, погибшие леса, отравленные родники –
то же самое, что кашель ребенка,
которому дали сигарету,
что язвы от ожогов на его руках, взявших огонь.

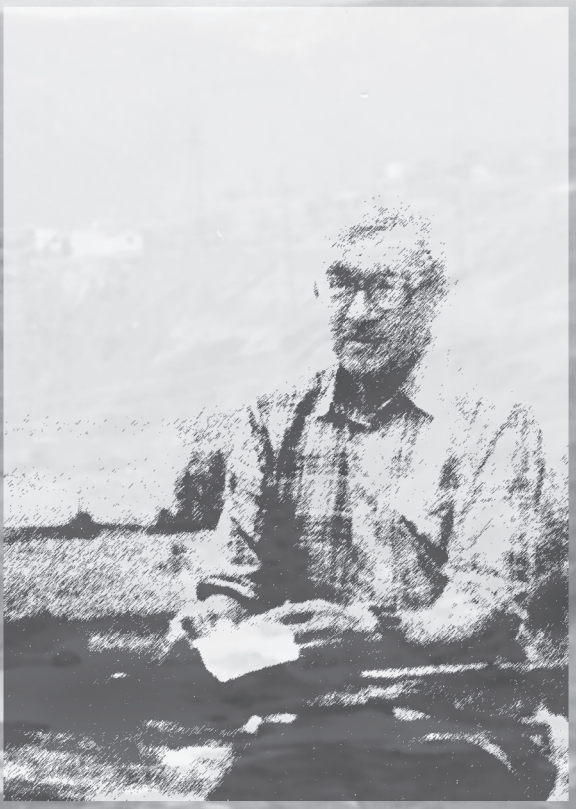
Человек, губящий природу,
не любит детей.
А тот, кто не любит детей,
умирает задолго до своей смерти,
потому что не хочет продолжения жизни.

* * *

Не надо ветки обрезать,
не надо!
Пусть дерево растет, как хочет,
пусть!
Пусть летом листья сонно льют прохладу,
а осенью листва лелеет грусть.

Нет августа
без буйства бурых сучьев,
без лохм, летящих криво на ветру,
а в ноябре
деревья
по-паучьи
дожди сплетают в сети поутру.

Приглаженность испортит сад.
Не надо
ножом шальные ветви поправлять!
Свой замысел давно созрел у сада.
Не нужно саду в замыслах мешать.



II.

ЛИК СТАРОСТИ



* * *

Колючий сад,
он зло топорщит сучья
и рассекает даль на сто частей.
Как медный нож, ветловый лист
ждет случай,
сорвавшись,
взрезать землю до корней.

В ноябрьскую безжалостную пору
деревья остры,
сад
непримирим.
Он зло встречает зло,
и ежатся просторы,
в жестоком споре дрогнув перед ним.

Не верится:
лил проливень из ведер,
и солнце
выжидало, чтоб прильнуть
к изгибам яблонь,
точно к коже бедер,
и к грушам,
обнаженным словно грудь.
Все позади.
Какая скудость цвета,
как режет глаз косых стволов излом!
Колючий сад хлыстом железных веток
на зло природы
отвечает злом.

* * *

Метель
и мельница на голом склоне.
Когда-то
эти крылья
ловили ветер с радостью и стоном,
чтоб зерна, привезенные с полей,
разбить в муку
и хлебным благодушьем
насытить
ненасытный дух людей.

И ветер был почтителен –
он плавно,
как в хороводе, мельницу кружил.
Далекий ветер,
ветер давний...

Теперь метель.
Теперь снега.
Теперь
она стоит до пояса в сугробе,
и бьется на петле расщепленная дверь.

Заклиненные крылья недвижимы,
их перья вырваны,
в них бьют со всех сторон
стальные
снежные
пружины.

И в щели между бревен,
в гниль пазов,
на жернов лопнувший
летит мука... из снежных облаков.

Насмешки горше нет
для мельницы,
кормившей целый свет.

Вот так она стоит, согнувшись
у вершины,
и смотрит вниз,
а там
через метель
по черному шоссе
муку везут машины.

* * *

Лицо за решеткой тяжелых морщин –
год на год,
крест на крест,
замок на замок.
И старость
с тобою один на один.
И ты в одиночке устало замолк.

Остались на воле друзья и враги.
Там прошлые ветры и прошлые дни.
И кружат еще по озерам круги
от прошлых камней, что заброшены в них.

Там прошлые губы и прошлая плоть,
и прошлые птицы на прошлых суках,
и зерна,
которые надо смолоть,
и руки,
которые будут в руках.

А здесь
нет грядущего.
Время стоит.
Грядущее в прошлом осталось навек.

И кто-то другой у пушистых ракит
Бежит босиком по весенней траве.

СТАРОСЕЛЬЕ СТАРУХ



ОСЕНЬ

Бузину да волчьи ягоды
с бересклетом и рябиной,
вздохи тяжкие и тяготы
собрала в подол ряднинный.

Все загребистей, убористей,
устали не замечая,
нахватала горьких горестей,
белены да молочая.

Вся, как есть, не принаряжена
ни в обычьи, ни в обличьи,
потащила чрез овражины,
через посвисты синичьи.

И в котел осенних месяцев,
поворчав, кулем свалила,
и глядит, как буйно бесится
злого зелья злая сила.

СЕСТРА ОКЕАНА

Ловила старой снастью рыбин,
пока спокоен океан.
А за спиною, за обрывом,
ненастьем черный бубен вздыблен,
там космами трясло ненастье,
готовясь к пляске, как шаман.

Согбенная, со взором древним,
привычным взмахом темных рук
тянула снасть
за горным гребнем,
среди раздумий и распутий,
среди изломов и излук.

Она на океан ворчала –
не очень-то сегодня щедр...
Он для нее был однолетком,
он, как она, жил изначала –
всех старше,
всех мудрей,
всех горше
среди людей, вершин и недр.

И в надвигавшемся ненастье
шло продолженье давних лет:
снасть, отягченная уловом,
сменялась опустевшей снастью,
приметы добрые сменялись
тревогой пасмурных примет.

Все было –
доброе и злое,
расцвел и сгинул целый клан...

И вот у берега лишь двое:
она – согбенная старуха,
он – оскудевший океан.

* * *

Мир старых фотографий молод,
он к выцветшей стене приколот.

В овальных рамках и в прямых –
созвездье франтов и франтих:

лебяжья шея рядом с фраком,
перо склонилось к шапокляку.

Все молоды и все в расцвете,
и были ж все на этом свете...

Мир старых фотографий молод,
он холод пережил и голод,

он здесь, он рядом – бок о бок,
и как созвездия далек.

Из всех светил его (о жалость!)
старушка блеклая осталась –

как в телескоп, глядит в лорнет
на сонм исчезнувших планет.

А после (о судьба мизер!)
включает вновь «телевизэр»...

ВЕДУНЬЯ ТРАВ

По откосу городского парка,
раньше птиц нарушив утренний покой,
через муть сырую
древняя знахарка
пробирается и шарит по кореньям
узловатой быстрою клюкой.

В путанице, где полынь и повилика,
где в крапиву вкраплена осока и осот,
что-то щупает и нюхает (попробуй, угляди-ка!),
что-то прячет в сумку,
что-то в пальцах мнет.

А когда проснется город и зарыкают машины,
прихватив пучки сушеных трав и в пузырьках
отвар,
поспешит старуха
через пыльный двор под оклик петушиный
и – в троллейбус,
и – пораньше на базар!

Издавна в рядах есть место под навесом.
Шаркая, к прилавку подойдет едва,
тотчас же
травы и черной, и белесой
вывесит, разложит
и нахохлится, как старая сова.

Морщины по лицу – как причудливые перья,
но глаз глубок и зорок, хоть от годов желт,
в праздных любопытных кидает недоверьем,
для страждущих и алчущих
всю мудрость бережет.

«Средствия» от немощей, болезней и недугов...
Приготовь настой,
нажми
и надави –
пользуй сам себя, знакомых и супругу,
укрепляя силу сердца, силу почек и любви.

Снадобья из леса, с лугов, с огорода...

И чудится сквозь пряный базарный зной,
будто не старуха,
а Сама Природа
принесла целенья в кошелке прутяной.

...И назавтра
снова по сырому парку
из дальних веков, законы времени поправ,
побредет
последняя
наследная знахарка,
ведунья деревьев, кореньев и трав.

КРАСАВИЦА

Обмякла, одрябла,
щеки висят,
в пояснице почти неприметно, а все же согнулась...

Но еще одевается ярко
и так говорит,
чтоб все слушали,
все обращали вниманье,
оборачивались,
спрашивали: «Кто такая?..»

К женщинам
покровительственно снисходительна,
к мужчинам
сдержанно настороженна.

И лишь по этим повадкам,
немного странным, немного смешным для пожилой,
можно догадаться:
когда-то была красавицей.

И так пронзительно-грустно
смотреть на нее.

СТАРУХА

По берегу,
черная
в белом тумане,
старуха с тревогой,
старуха со страхом,
старуха с собакой
идет по песку.
Тревога и страх, и собака
в предутренней рани
прижались к ноге
и скулят,
и тоской своей неизреченной
готовы накликать другую, давящую сердце тоску.

Байкал пригвожден к косякам побережий –
ни всплеска –
все звуки задавлены в сдавленном горле ветров.
И шаг осторожный
острой гранью песчинок
тишину остеклевшую режет,
и осколки впиваются в спину крутых берегов.

Кто-то там заблудился...
В тумане весло увязило?
Или в сыри глухой захлебнулся мотор?
Чьи сердца без надежды и руки без силы
увидала старуха сквозь тусклый простор?

Это муж?
Это сын?
Это внук?
Или просто соседи?
Или просто о ком-то тревога ее?

Может, это тревога о всех, кто плывет и кто едет,
кто идет,
кто летит
и плетется средь дальних краев?..

И старуха бредет к перевернутой лодке,
ударяет по днищу корявой клюкой.
И сухие удары, призывны и четки,
в неизвестность плывут
над землей и водой.

«Эй, в тумане,
в слепом Баргузинском заливе!»,
«Эй, в тумане,
на всяком распутье земном!» –
Голос лодки зовет. Он то глух, то заливист,
будто старое сердце
надрывается в нем.

И усталые скулы тяжелых баркасов
завиднеются скоро сквозь мокрую муть,
и забьются моторы,
и с этого часа
в паруса будут ветры попутные дуть.

А старуха уйдет по песку,
и собака
неуклюжими лапами стопчет следы...

И недавняя горечь тревоги и страха
растворится
в растворе песка и воды.

* * *

Старуха точит косу
в бессонницу,
пока
рассвет мутноволосый
мутнеет в облаках.
Старуха косу точит
щербатым оселком,
и тени трудной ночи
таятся под платком.
И, волосы поправив,
седые, как рассвет,
идет по тусклым травам
до пояса в росе.
Потом, веревку бросив
и подоткнув подол,
окашивает косо
кочкарый суходол.
Лишает жизни травы
во здравие коров.
И росный сок отавы,
как зоревая кровь.
И пар
душой невинной
восходит тихо ввысь,
и берегут калины
испуганную мысль...
Среди рассветных теней
удел старухе дан –
глухой судьбой растений
брести через туман.

СРЕТЕНЬЕ

«Ворочалась надысь от обедни,
ластил сердце блаженный елей:
синтетицкий исподник намедни
подарил мне внучонок Сергей.

Так-то тепло и для ишаасу
очень даже полезна синте...
не умолвишь.
Ну, доброго часу!
Матерь Божья, Исусе Христе!»

Было Сретенье. Птахи свистали
да коровы скучали в хлевах,
да сырые сосульки свисали,
и дымился по закутям прах.

А над маковкой Божьего храма,
за сплетением голых ветвей,
небо надвое трассой разламывал
сын дочернин, внучонок Сергей.

* * *

Звериные шкуры
висят на дубах,
дубильною жижей
подлесок пропах.
У осени фартук,
заляпанный кровью,
и ноги
обернуты в кожу воловью.
От сока ольхи ее пальцы красны
и щеки
грубей, чем кора у сосны.
В руках ее ветер булатный, каленый –
чуть тронет,
пропорет
осины и клены.
В оврагах лещинных,
по чащам, по рощам
осенние шкуры дерет и полощет –
в болоте медвежью,
на озере лисью,
нет беличьим счета –
они словно листья.
Проквасит,
провялит,
растянет жердями
и к небу прибьет
ледяными гвоздями.

СТАНОВИЩЕ СТАРИКОВ



ЧУМ

Это за Подкаменной Тунгуской,
где на острове песчаная коса.
Там ветра бормочут не по-русски,
на реку туманы побросав.

И стоит,
продравшись сквозь столетья,
вечность, как сову, прижав к плечу,
старше всех на этом старом свете,
из шестов и шкур
мохнатый чум.

Где-то
строились и гибли пирамиды,
время камень смалывало в прах.
Здесь
дымок над чумом
так же руки вскидывал,
пальцы искупав в туманах и ветрах.

Снасти, страхи, страсти –
как и были.
Та же лодка притулилась у коряг.
Где-то мимо корабли истории скользили,
на закат и на восход роняя якоря.

Из глубин времен и непогоды,
тающие, как весенний лед,
пусть приходят и проходят теплоходы,
и в динамиках мелодия поет...

Чуму
все равно.

На острове далеком,
иссечен ножами лозняков,
глазом костровым,
дымящим оком,
он, не видя, смотрит из веков.

ОРГАННАЯ МУЗЫКА

1

Вот серебряный город.
Там медные птицы гнездятся,
там стальные сверчки
и стеклянные пчелы живут.
В нем дома без хозяев и домочадцев,
и холодные башни не знают про теплый уют.

И приходит старик.
Он приносит задумчивый праздник,
начинается пир,
медный мед в гулких трубах кипит.
И в серебряных сотах
душа охмелевшая вязнет,
и стальной колокольчик у самого сердца звенит.

А старик поднимает тяжелую соль океана,
вызывает все гулы пещер
и все ветры полей...

Так рождается музыка в недрах органа.
Так великая мудрость нисходит на души людей.

2

На простуженном
хриплом органе,
где трубы продырявлены лучами звезд,
где лед косыми иглами пальцы ранит,
где мерзлые дороги легли вперехлест –
играет ноябрь.
На бровях его иней,
в бороде его листья,
в глазах туман.

И мелодия
в далях зазвездных стынет,
и во всем бесконечном осеннем мире –
одинокий ноябрь
и охрипший орган.

* * *

Старый лекарь деревьев.
По влажным бульварам,
когда черные сучья вонзаются в синее небо,
он идет и лекарства несет за спиной.
Там паяльная лампа,
долота и вар.
Лекарь знает,
кто здесь болен
и чем,
и сумеет ли выжить больной.

Распугав воробьев,
он труху из дупла выбивает,
выскребает всю гниль,
что скопилась на сердце у лип:
крошку мелких желаний,
пронырливых злых древоточцев,
пыльный мох, что на душу налип.

И паяльная лампа
с безжалостным ревом
жжет дотла тлен и тлю, дряблость старой коры...
И дрожащее дерево
терпит,
зеленые почки,
как глаза, от врачующей боли раскрыв.

Он готовит деревья к весне.
Посмотрите,
как сгорает труха, древоточцы
и ложь!

ЧАСОВЩИК

Дождь времени!
Часы и сутки
стекают каплями со щек.
Каморку полнят перестуки
и маятников перещелк.

Бой начинается натужно
от Мозера и от Буре.
Часы нестройно и недружно
галдят, как галки в сентябре.

В шкафах, на стенах и на полках
проснулось Время.
Часовщик
сквозь неприметнейшую щелку
его рассматривает лик.

Вот, захвативши бровью лупу,
от мира напрочь отрешен,
старик пинцетиком ощупал
нутро латунное времен.

Там на колеса намотало
волокна отошедших дней,
и годы пылью залежалой
покрыли зеркало камней.

Наверно, каждая секунда
под лупой вырастает в час,
и старику совсем нетрудно
коснуться судеб, ждущих нас.

Он видит за сплетеньем стрелок
путь взлетов и падений дно...

До срока сердце поседело
от знанья, что ему дано.

Нет отдыха и нет покоя.
Провиденье – как тяжкий крест.
Едва лишь крышку приоткроет –
на годы видит все окрест.

Когда же знанье, словно щелок,
жизнь переест и выжжет взгляд,
он упадет,
и с этих полок
часы, как галки, загалдят.

* * *

Он сторожит арбузы
ночь насквозь.
Они в ларе железном.
Он в дожде.
Он стар и согнут,
словно ржавый гвоздь,
и в улице торчит, как в городьбе.

Какие сквозняки,
какой поток!
Как эта муть сегодня холодна!
Как ноги ломит.
Как долбит в висок
судьба, что без покрышки
и без дна!

Все дни,
все годы,
все века,
весь свет
сомкнулись клином на его плечах,
свели все счеты всех прожитых лет,
задули все огни
на всех свечах.

Остался
только непогоди вой,
когда болезни точат страшный клюв
и прошлое висит над головой,
устало крылья слабые свернув.
Осталось –
сесть и сторожить всю ночь
арбузную вселенную в ларе,
где все планеты, что им ни пророчь,
пойдут под нож в дождливом сентябре.

* * *

Приходит к старости
благообразность,
уходят в прошлое все острые углы.
Как будто бы елеем лица смазаны,
носы округлы,
головы круглы,
очки прозрачны, как глаза младенца,
безгубый рот лишь истины речет,
и, вытертые чистым полотенцем,
вставные зубы – все наперечет.

А было, было...
Что когда-то было!
И дралось, и мечталось, и спалось,
и с губ срывалось бешеное мыло,
и головы летели под откос!

...Под утро
снится, как жилось и пелось,
любилось меж перин и средь травы...

Проснется,
а в стакане рядом –
челюсть
глядит
оскалом мертвой головы.

СЕВЕРЬЯН

От жухлых трав и болот, поросших мохом,
из глинистой, еловой страны крестьян,
с Севера, где жить было скудно и плохо,
пришло это имя – Северьян.

Оно – как замутившийся от времени камень,
многое чудится в его глуби:
вот избы зажмурили веки ставен,
и снежный буран в их трубы трубит.

В нем весна продрогшая, радостью скупая,
тонкие ветки тянет из тумана.
Птицы неуклюжие поздно прилетают,
и цветы неяркие отцветают рано.

Там и лето серенькое с тощей рожью,
латаные крылья мельниц на буграх.
В нем и осень дождиком по бездорожью
замывает редкие следы бродяг.

...В старинном имени таится бескрайность
лиц и людей, уходящих в глубь веков.
Северное имя, всплывшее случайно...
А сколько у нас таких имен и слов.

* * *

С палочкой-копалочкой
сохлый старичок
через рощу галочью
поволокся в лог.

Волчье лыко, жимолость,
горькие грибы...
Набралось ли, выбралось
у конца судьбы...

Серьги бересклетовы
и уста рябин –
песнями пропетыми
на краю годин.

Палочка откинулась,
ветер поднялся.
Скрылась жизнь, как жимолость
в темные леса.

* * *

В косом оконце,
там, где вывеска «Прием утильсырья»,
где по стене – и плесень, и мокрицы,
на пыльной вате
в покоробленной слюде
лежит
потертое
перо
жар-птицы.

Утильщик там соорудил
из проволоки, битого стекла
и пробки от графина
столь хитроумную для солнца западню,
что луч вечерний,
луч единственный,
едва ее задев –
не может выбраться
и пленником утильщика
бывает раз на дню.

Он мечется меж стеклами,
он искрой фиолетовой,
он радугой кидает из окна до потолка
и выполняет прихоти чудного старика.

В тот миг
перо жар-птицыно,
помолодев, цветет
и блещет, и сверкает,
и можно догадаться,
с каких оно упало заоблачных высот.

И в этот миг
утильщик
смеется вместе с солнцем,
приплясывая валко меж хлама и старья.
И кажется, и мнится:
жизнь прожита недаром –
в окне перо жар-птицы,
и отсвет озаряет
«Прием утильсырья».

* * *

О почему же, проходя мимо лотков,
где лотерейные билеты и брошюры,
все чаще
вглядываюсь в лица стариков,
в глаза их с близоруким и беспомощным прищуром?

Ловлю себя –
боюсь узнать друзей
в бесформенных фигурах за лотками.
В тщедушье ртов и в жилистости шей
все вижу тех, что стали стариками.

Все кажется –
они,
бодрясь, кричат,
что только здесь счастливые билеты...
И прошлое,
как сытный синий чад,
сдувает ветром
от дверей «Котлетной».

По лотерее выпадало нам
и счастье, и несчастье,
и отчасти
мы всё это делили пополам
и половинки сжевывали наспех.

И так вот,
наспех пробегая жизнь,
расталкивая дни ее боками,
с низин ее, с крутых ее крутизн,
гляжу на тех, что стали стариками.

* * *

Дележ наследства в доме престарелых.
Былая слава –
грудой золотых.

Для них она еще не отгремела,
хотя давным-давно ушла от них.

И призрачные тихие монеты
они хватают хлипкою рукой.
И отсветом погасшего рассвета
мерцает их упрямый непокой.

Забытые,
былого не забыли,
свой пыл не отпустили на распыл.
Легенды
им – как будничные были.
Что из того,
что мир
о них забыл!..

Они сегодня – в дне своем вчерашнем.
Им дела до сегодняшнего нет.
От прошлого
им радостно и страшно.
Как гром –
безмолвье призрачных монет.

Рвут друг у друга,
прячут по карманам
иль пробуют, вставной подставив зуб...

И, словно тени на немом экране,
Себя
в карете прошлого
везут.

* * *

Не жизнь, а жухлый том «записок»,
где дни – как стертая строка.
И, словно кожура сосисок,
перчатки в сморщенных руках.

Обвисшее пальто и шляпа
давно увяли, как лопух.
Их пылью старости заляпал
пух серой мысли и прорух.

Жизнь
канцелярским коридором
прошаркала швырком калош,
напичкала чернильным вздором
и суетой безликих рож.

И вот теперь –
одни ошурки
(припомнишь – в горле запершит),
лежат, как горькие окурки,
на дне прокуренной души...

* * *

Кижи мертвы.
Не теплится лампада.
Колокола ко всенощной не созывают люд.

Так умирает прошлое.
Не надо
обманывать себя
и говорить, что вечно
старинные строения живут.

Есть череп,
нет глагола
и нет плоти,
нет уст и рук, вдохнувших дух в дресву.

По черепу вы облик обретете,
но разве маска
ровня естеству?
Ее и восхищаясь не полюбят
и жизнь
за жизнь ее не отдадут.
Строения живут, покуда люди
в них плотию и помыслом живут.

Все гульбища и торжища, и страсти,
молебствия и крестные ходы,
и срамота грехов,
и чистота причастий
прошли, как волны, по лицу воды.

Осталось,
что в страстях нерастворимо,
что было только отсветом страстей,

что над костром судеб вставало дымом,
а судьбы догорали до углей.

И тех судеб не стало.
Их с корнями
повыжгло время по онежским островам.

И только храмы
серыми дымами
еще встают вдали
то здесь,
то там.

* * *

Река еще жива –
течет по жилам кровь,
хоть снег,
как кружева,
свисает с облаков,
хоть лед
косой стрелой
ей в горло целит,
хоть
поземкой ножевой
ее терзает плоть.

Река живет,
и пар
таит у влажных губ,
и варит черный вар,
и косит льдом кугу,
и крутит жернова,
проснувшись поутру...

Нет,
рано кружева
нести к ее одру!

III.

ВЗОР ЮНОСТИ



* * *

Я люблю переулок.
До щербатых карнизов,
до голубятен костлявых
он тишиной тополиной налит.
А в небе
могуч, как бунтарский вызов,
красноперый закат
спины крыш
и деревья
когтит.

Это спор безмятежности
и урагана космических красок,
битва уюта и бесприютных просторов.
Над переулком
в дремоте вечернего часа –
вихри Вселенной
и мрачного Космоса норов.

И, заглядевшись на бешенство поднебесья,
взявшись рукою за тощую жердь голубятни,
мечтатели
в бездну Вселенной ноги босые свесят
и будут впивать и слушать говор светил невнятный.

АДРЕС ШЕКСПИРА

В пяти минутах от метро,
на улице, мерцающей неоном,
рядом с домом,
где сорок переполненных квартир,
живет Шекспир.

И мы к нему приходим,
оставив электронные машины,
молекул синтез,
ядерный распад...

«Когда-то
где-то в Датском королевстве
был принц...» –
Шекспир нам говорит сто раз подряд.

Что нам за дело до любого принца!
Был он иль нет –
кому какой урон!
Скорбеть о нем?
Мы делаем машины,
где говорит и мыслит электрон.

Но здесь живет Шекспир.
Он носит шпагу принца,
он призрак,
он могильщик,
он король.
Кто запретит артисту и фантасту
избрать любую роль!
Здесь все личины, маски и обличья
лишь грани человеческой души,
лишь плащ,

который незаметной нитью
к живому сердцу накрепко пришит.

Живое сердце дышит и мятется,
тревожным ритмом наполняя мир.

...Как нам не помнить
этот старый адрес,
где столько лет
живет Шекспир!

* * *

На Север,
к полотнищам тундры,
к горловинам тревожных раскидистых рек,
где фонарик на мачте,
далекий и смутный,
золотинкой дрожит
в предрассветном скупом серебре.

Сердце тянется к скудости дальних просторов,
сердце учится строгости, мудрой и трудной,
оно хочет оттаять, как трепетные озера,
оно хочет цвести
бесконечною тундрой.

В синих далях и долах, проколотых острой осокой,
меж оленьих следов,
средь обточенных рыб и задумчивых птиц
глаз
вбирает и медленно копит до срока
красоту
без начала, без дна и границ.

Так всегда.
Этот Север, пронизанный резкою синькой,
манит сердце и глаз,
и зовет, и таит свою хмурь, свою хмарь...
И дрожит
в серебре предрассветном тугой золотинкой
позабытый на мачте
далекий фонарь.

* * *

Скрипучие блоки пропели: «Прощай...»
И флаги – прощальными парусами,
и волны медуз поднимают у свай,
и руки с платком поднимаются сами.

Есть горе,
оно океанской воды солоней,
есть радость,
она ягод тундровых ярче и слаще.
И все это
разом
у стольких людей
прощанье,
как якорь, из памяти тащит.

А якорь болтается в клюзе,
его
отмыли соленой водою от ила.
Не ждать кораблей нам –
ждать буйных снегов
у сопок, что ветром сырым прознобило.

Уходит последний. Последний, прощай!

И долго трепещет у мокрого пирса
платок чей-то мокрый –
отбился от стай,
а к новым гнездовьям еще не прибился.

* * *

Не доверяй
ни камню,
ни кустам.
Неверный шаг
им для того и нужен,
чтобы с песком и глиной пополам
ты был обвалом схвачен и завьюжен.

Корням и сучьям
жизнь не доверяй
и о предательстве хвои сосновой помни:
скользнет нога,
и пальцы схватят край...
И эхо бросит крик в каменоломни.

Надейся лишь на мышцы и глаза,
на мудрость ног
и тонкий разум тела.
Себя ты волей к скалам привязал,
и камень сдался,
и душа запела!

БЕРИНГОВО МОРЕ

Грань земли.
Голый камень ободран и сир.
Жгучим прохлестом ветра долины пробиты.
За Олюторским мысом кончается мир,
начинается хаос на море открытом.
Верх иль низ?..
Даль иль близь?..
Ничего не понять.
Проскочив мимо поручня, кверху ногами
полетишь...
Там борта от натуги звенят,
и теряется голос в гуденье и гаме.
Вместо палубы – пена.
Крутым кулаком
океан, расщедрясь, надает зуботычин...
В уши – вой,
в ноги – боль,
в сердце – кол,
в горло – ком...
И привычный корабль станет вдруг непривычен.
И привычной судьбы просмоленная нить
от натуги сама оборваться захочет.
Но судьба непроста:
ей взбредет подарить
тебе новую жизнь,
только чуть покороче.

...И заклинится в память Олюторский мыс,
и ветрами по-волчьи обглоданный камень.

Там начало:
земля и вода разошлись,
с жизнью ты распрощался
и вновь родился в океане.

КРАСКИ СЕВЕРА

Краски Севера:
свинцовые белила,
цинковая злая синева,
пласт зари, откованный из меди,
плес реки – всклокоченным медведем...

На палитре тундры и тайги
ветер их берет
и грубой кистью
смешивает, скручивает, мнет,
превращает в камень, снег и лед.

И на холст без меры и без края
нахлестом безжалостно швыряет.

Холст развернут ввысь
и брошен вдаль.
Теплоход –
Лишь малая деталь.

Так родится из порывов шквальных
живопись
для северных штурвальных.

* * *

Ни росчерка,
ни лишней линии –
так строг и точен Енисей.
Наметил горизонт
и облако
и бросил в небеса гусей.

Не надо берегов!
Лишь зубчато,
легонько острою пилой,
тайгу подправил где-то с краешку,
медвежьей шубой кинул зной,
и ветер погасил,
и выпустил
такую светлую лазурь,
что глаз ее не может вынести
и видит только сквозь слезу.

Там гуси растворились начисто,
как будто не было гусей
и ничего на свете не было...

Был
лишь полярный Енисей.

ВОДА И ВЕТЕР

От ветра и воды нельзя вздохнуть.
Кол ветра и воды стоит у горла.
Косые струи, преграждая путь,
буравят землю, как стальные сверла.

В зеленой бездне ветра и воды
деревья стали водорослью длинной.
И уплывают из-под ног следы,
наполненные серебром и глиной.

Не различить, где ветер, где вода –
гремящий столб сплошного водопада!
И молнии, вцепившись в провода,
бьют клювом землю раз по двадцать к ряду.

Сливаюсь с бурей, с ветром и водой.
Я капля крови в ливневом разливе.
Плыву вперед, смеющийся и злой,
ломаю струи и впиваю ливень!

СОН О ПТИЦЕ

Нет, ошибиться я не мог,
совсем не мог я ошибиться...
Взлетела утром на порог
большая встрепанная птица.

И чистила свой синий клюв,
и громко перьями трещала,
и, шею набок повернув,
трубила звонко вдоль причала.

Я чуял птицу. Я сквозь сон,
сквозь мутные, как дождь, ресницы
хотел пробить слепой заслон
и взглядом прикоснуться к птице.

Я порывался на причал,
где буря била в борт баркаса...
И лишь бессвязно прокричал
в дыму предутреннего часа.

* * *

Какое веселое
чистое чудо –
деревья в гудящей листве,
а под ними –
два глаза,
два светлых колодца,
два пруда,
удвоивших мир в бесконечности синей.

Протянута к солнцу волос паутина,
и руки
в меду от покосного ветра.

Так чудо лежит,
постеливши под спину
гудящее листьями
пряное лето.

* * *

Через июльские покровы,
сквозь пар стихающей земли,
раскормленные, как коровы,
по саду яблони брели.

Они медлительно вздыхали,
дневные яства съев сполна,
и яблоки траву цепляли,
крутые, словно вымена.

Под брюхо теплое улягусь,
где бок ствола шершав и груб,
чтоб видеть,
как в соседний август
стекает мед с зеленых губ.

* * *

Радость первого снега!
Цветенье уснувших деревьев,
искры ягод рябины в ледяных зеркалах.
Ухожу
по звенящей дороге,
по иглам, пронзающим лужи,
ступаю на снежную пряжу, не знавшую прях.

Скоро будет костер,
густо вспыхнет береста,
и сырое сучье засвистит, словно дрозд.
Лап еловых сломаю,
свалюсь в смоляную чащобу,
в кутерьму мельтешащих снежинок,
рябины
и звезд.

* * *

Лето пахнет шпанской мухой,
мятой мятою и медом
и гудит шмелём над ухом,
и встает над сизым лугом
солнышком рыжебородым.

Под лучами
пыль и небо,
под ногами
быль и небыль.
Это лихо, это лето –
словно в сердце острый стебель!

Взгляд черемуховых ягод,
губ малиновых касанье
пригубляю, принимаю
за любое наказанье!

Лето пахнет мятой мятой,
размоpенною крапивой.
Лето – лихо,
лето – ладо,
лето – ласковое диво!

* * *

Зеленым филином уселся можжевель.
В глазах роса,
в ушах трещат синицы.
Он лапами так сжал лесную прель,
что та
грибом
до срока разродится.

Он любит
эти скудные места.
По-птичьи,
по-звериному их любит.
И тонкой паутиной
красота
повисла на замшелом клюве.

* * *

Окно открою –
лучше слышно ливень,
и четче поступь капель,
и слышней,
как пузыри звенят,
лепечут ивы
и горький запах льется с тополей.

Рассветный дождь.
Сквозь пасмурную сырость
в окно трубит зеленая труба
о том, что солнце в каплях растворилось,
что стала черной наша городьба.
О пустяках великих –
песнь природы,
о брызгах, заслонивших небосклон,
о лепестках раскрывшихся,
о меде,
о сердце,
ждущем солнечных времен.

* * *

Кто там ходит всю ночь на ходулях
и палкой стучит по тугим лопухам?
Куда ни пойдешь –
в огороде,
в саду ли, –
везде долговязые долбят ходули,
и шепчется кто-то по темным кустам.

«Летучую мышь» засвечу
и, пригнувшись,
чтоб капли с листвы не спугнуть,
подойду...
И дождик,
ходули ломая о груши,
с испугом замечется в мокром саду.

* * *

Кусты и деревья – горшки и кувшины,
налитые бледно-зеленой водой.
Как хрупки сосуды весенней крушины,
как трепетна чаша ветлы молодой!

Я их подставляю под ливень весенний –
и слушает
глухо гудящая глушь,
как варится пряное зелье растений
в горячем пару закипающих луж.

* * *

Лето льется
из тонкого горла цветка
и из птичьего горла,
тонкой струйкой течет,
и родятся потом облака,
и густеют леса,
и возносятся горы.

И лукаво, и ломко
улыбка скользит по губам.
Красота,
словно капля смолы, напоенная летом,
протянулась по хвое сухой,
по лугам
и сквозь сердце прошла,
и ушла,
недосмотрена и не допета.

Недосказанность –
странный удел.
Это горечь ее
в стебле трав
и в смоле,
и в судьбе...
Эта горечь
есть во всяком,
кто ломкой улыбкой владел
и, предчувствуя радость,
наткнулся на горе.

Будут стебли и горы,
и горло цветка
не устанет струить уходящее лето.

И проглянет улыбка,
легка и ломка,
и растает
в малиновой чаше рассвета.

* * *

Развозит дороги,
разводит на заводях льды,
раздвигает снега,
разжигает цветы на проталинах,
пряным ветром
сбивает
гусей перелетных с воды,
обдирает с дубов
прошлогоднюю ржавь и окалину.

Так летит через синь,
так ползет по протокам земли
и скользит сквозь глаза
сквозняковая резкая свежесть...

Только дай ей намек,
только место в душе посули –
без дорог,
без разбору
примчится к тебе,
выбьет окна
и сердце осколком порежет.

* * *

Родятся горы, глина и вода
и жадно, живо жмутся к сердцу ближе,
и сердце распускает невода
и хочет больше из вселенной выжать.

В нем тихо, тонко теплятся ростки
и чуть звенят, вытягиваясь в струны,
и прорастают камни,
и пески
плодятся на мохнатых дюнах.

В его сетях
созвездья и глаза,
и шорохи, и шепоты ночные...

Как будто,
мир в тугой клубок связав,
одно лишь сердце создала стихия!

* * *

Веселых стекляшек апрель нанизал –
березы под утро
звенят бубенцами,
и радостным холодом полнит глаза
продрогшей зари индевелое пламя.

А солнце,
как сердце, таится в глуби
дремучих болот, замохначенных мохом...

Березовый день подступает к груди,
и тетерев в роще кричит скоморохом.

* * *

Безветрием надут черемуховый парус.
На речках и ручьях –
сто кораблей.
И волны горечи бесшумно расплескались,
и брызги звезд висят между ветвей.

Весенней силой мачты ломит.
Цепи
листвы и трав
не сдержат якоря –
все корабли сорвутся
и сквозь крепи
уйдут, кренясь, в полночные моря.

Тишайшая, невидимая буря.
Ни шороха от леса и полей...

И только сердце слышит,
как срывает
сквозную парусину с тонких рей.

* * *

По колено яблони в воде,
а кусты в воде стоят по плечи,
и на каждой ветке –
по звезде,
и стволы – как стеариновые свечи.

Скоро вспыхнут,
разлетятся,
разгорятся на ветру,
слижут звезды,
снижут бусы
из тяжелой плоти яблок –
эти яблони,
проснувшиеся рано поутру,
эти свечи,
в яром пламени склонившиеся набок.

Пропадай, моя телега,
все четыре колеса!
По проселкам,
по колдобинам,
по клеверному лугу
я поеду,
чтобы яблоки
ладонью поласкать,
полукружьями медовыми прижатые друг к другу!

* * *

Еще все было впереди,
все было в будущем,
все ждалось –
вот летний ливень загудит,
и молния протянет жало.

И не сумеешь не вбежать
под сумрак старого навеса,
где капли мутные дрожат
в сырой пыли седого леса,
где руки – пряные от трав,
где губы – пьяные от ливня,
то жгут, сильнее всех отрав,
то дарят праздничные гривны...

Все это было впереди,
все ждалось,
все прийти желало,
все зрело, как гроза, в груди,
и молнии
точили жало.

* * *

Как саженцы тощи,
как хрупки
у яблоньки ветки и ствол.
Как грубы рогожи и руки,
Как медленный заступ тяжел.

Земля комковата.
Навозом
простелена яма...
Гляди:
посажена яблоня.
Грозы,
снега – всё еще впереди.

Пускай понемногу вбирает
и горечь, и мед бытия...
Едва ли покажется раем
ей трудная эта земля.

Но как-нибудь,
раннею ранью,
почувствовав мудрость свою,
она станет древом познанья
в чьем-нибудь рдяном раю.

IV.

ЗЕРКАЛО ЗРЕЛОСТИ



ПРОСТОРЫ



РОЖДЕНЬЕ РЕК

Рожденье рек Полярного Урала
под грохот каменных колоколов,
под звон прозрачных чаш,
под гневный гром хорала,
клокочущего в горле у ветров!

Ломайте скалы,
рвите тундру в клочья,
справляйте пир новорожденных сил!
Здесь ни один шаман
судьбы вам не пророчил,
вас ни один колдун родиться не просил!

Входите в мир без зова и без спроса,
бросайтесь серебром бесценных рыб!
Пускай озера следом лягут косо,
березы криво обовьют бугры.

Кидайтесь вкривь и вкось –
ищите путь –
не всюду
нужна простая прямизна.
Меж тундр
случаются и чудеса без чуда,
и ночь без вечеров,
и дни без утр.

Вберите чистоту снегов и льдов
и жижу
ржавовины болотной из трясин.
Вам все дано познать:
чем к океану ближе,
тем ниже недра,
выше свет вершин!

Алексею Потемкину

* * *

Кто шаманит
в шаманьих просторах?
Ветры
в каменный бубен стучат.
И гудящие,
гулкие,
голые горы
неохотно и грозно
вбирают вечерний набат.

Запалила заря облака,
на вершины закинула пламя,
по ущельям ударила резким хлыстом.
Бродят красные волны
грохочущими стадами
вдоль по черной реке,
рядом с хмурым
крутым Верхоянским хребтом.

Вейтесь, дикие силы,
свивайтесь в клубок, завивайте
в свое жерло
весь камень и мох,
и тугие тяжи облаков!
Пусть сгорают закатными искрами чайки,
пусть от гор, как от угля,
вздуваются космы костров!

Нет конца,
нет границ,
нет предела...

Индевелыми перьями светятся крылья пустынь.

Из каких неохватных миров
прилетела
эта даль,
эта ширь,
эта стынь,
эта синь?..

* * *

Много красок не надо.
Для заката достаточно трех.
Бросьте медную в небо,
сталь каленую в горы,
известь жженую в реку
и смотрите,
забыв про коварства дорог.

Пусть недолго –
пока, отдыхая,
олени
крепкий гриб подберезовый жадно жуют.

Чтоб закатные краски вобрать,
нужно целую жизнь
или несколько беглых мгновений,
все равно ни того ни другого не хватит –
ни жизни, ни дней, ни минут.

Эти краски
Урал
многолетье хранил в своих складках,
он настаивал их
на буранах и льдах, на жаре,
на воде снеговой,
на камнях, заскорузлых и гладких,
и на судьбах,
сгоревших в полярном костре.

Сколько глаз уходящих
в последнем разжатье
принимали высокий покой этих мест,
и закатные краски,

как волны в накате,
омывали
тревожный неструганный
крест.

Были праздники –
красные шали по меди
несгорающих медленных зорь.
В пляс узоры на малицах шли и, помедлив,
заплетались в закатный веселый узор.

Много красок не надо.
И трех слишком много для жизни.
Хоть одной,
налитой и ядреной,
сверкнуть!

...А олени верхушки березок обгрызли
и грибы дожевали,
и снова зовут тебя в путь.

КОЛОКОЛ

На срыве, на сломе, на сколе скалы,
на обрыве,
где шторм с океана
туман тащит волоком –
изъеденный солью и снегом,
избитый ветрами и временем
колокол!

Срывается голос его с крутизны
и летит по камням до прибоя,
и скачет с волны на волну,
как спасательный буй
среди грохота ветра и воя.

Рот отверстый
с могучим стальным языком,
глотки медной мучительный выкрик –
встречь крутой непогоде,
встречь бедствию,
через судьбу,
сквозь стенанья и стены,
волненья и вихри!

Вопиет он,
не зная к кому,
в пустоту, в темноту,
в разъяренную бездну.

И скитальцы
прорвутся по прорве морской,
на отверзнутый рот его
уши и души отверзнув!

* * *

Жгут листья.
Пряный пьяный дым
течет, как мед, между стволами.
Вхожу в осенние сады
сквозь дым и мед,
сквозь мед и пламя.

Кострами тихими до дна,
до искры вычерпано лето.
Мне осень дымная дана.
Душа, как яблоня, раздета.

Но сладость меда есть,
да, есть
в дыму сырых и жухлых листьев.
И благо,
что в душе не жесть,
а теплый дым, плывущий в выси.

* * *

О маленькое чудо осени –
комочек звона тонкого и перьев.
С каких планет
в осенний мир заброшены
наивность
и беспечность,
и доверье?..

Чуть слышно,
еле видно...
В неприметности
есть странная и медленная сила –
она тихонько разрушает крепости,
но не находит у людей мерила.

Бесцельна и бездумна, и бессмысленна
бескрайность мира
поместилась в птахе.
И сердцу хорошо,
узнав, где истина,
тревожно екнуть, сжавшись под рубахой.

* * *

Аптекарский настой осеннего болота.
Лекарственные запахи полей.
Лишь горечь листьев
скрыта позолотой.
Чтоб легче пить – глотай и не болей.

Неси свой груз давнишней долгой боли
в прозрачную лечебницу дубрав.
Листвою ли, дресвою ли, травой ли
начни леченье, от лекарств устав.

Душа сама нащупает на полках
и в ящиках сквозных лесных аптек
снадобья и пилюли, и иголки –
все, в чем спасенья ищет человек.

Здесь – хирургия щеп и сучьев острых,
там – терапия трав и облаков.
Бреди. И где-то на замшелых верстах
почувствуешь, что ты совсем здоров.

Одна лишь кровь царапин незаживших
напомнит о недугах позади.
И радостней, и трепетней, и тише
ты в тишину целебную бреди.

* * *

И двигатели грянули в там-там!
Их гул на эхо дальнее помножен,
как будто бьют ладонью по горам,
обтянутым тугой и звонкой кожей.

И сердце пробудилось, и глаза
опять хотят нетронутых просторов.
И снова страсти странствий развязал
томившийся по воле вольный норов.

Как зябнет без движения душа,
как ежится в глухом плену покоя.
Возможно ли, судьбы не вороша,
наполнить светом зрение пустое?

Найдут ли пальцы глину и металл,
вдохнут ли ноздри свежий дух вселенной?
Кто дни страстям под ноги не метал –
не сыщет дня, свободного от плена...

Шипит вода в крутых развалах волн,
и круто крутит крутобокий ветер.
И тает пирса вымокший бетон,
и тянет дождь свои косые плети.

Душа глотает время, как баклан,
мешает ночи с днем и солнце с тенью...

А двигатели бьют в большой там-там,
зовут к тревоге и к ненасыщенью.

* * *

На путях мороз еще свирепей...
Где рогатится железный мост –
кажется, скрипят стальные скрепы
и трещит ночная клепка звезд.

А на рельсах,
как на полосах от полюса,
в жухлом свете худосочных фонарей,
кто там от морозной жижи скроется,
кто в ней не промокнет до костей!

За Каргат ли,
за Чулым ли,
в Захолустное
как приедешь через тридевять земель,
выйдешь в кирзовых да в ватничке захлюстанном –
разом выбьет из-под кепки теплый хмель.

Эх, и выпляшешь чечетку требуховую,
кулаки до плеч затиснув в рукава!
Млечный Путь над головой – стальной подковою,
и в стальной подкове голова.

Эти станции с названьями нелепыми!
Как подстегнут ветром бешеный мороз.
И скрипят мосты стальными скрепами,
и трещит ночная клепка звезд.

* * *

Сядь вечером, зарей оплавленным,
ударь кремень глухим кресалом,
чтоб прососало бревна пламенем,
чтоб ельник дымом прососало!

Забьется, загудит, забрызгает
родник огня из-под колоды,
он лето меж сугробов вызовет,
нарушив строгий ход природы.

И травы встанут на проталине...
Но всем им рано или поздно,
в снегу иль в розовой окалине,
дано сгореть или замерзнуть.

А ты, согревшись и поужинав,
о судьбах трав не помышляя,
раздумьями и ношей груженный,
пойдешь сквозь ночь лесного края.

* * *

Заторосило реку,
перепахало –
льдины дыбом, переломаны и грубы.
Накромсало,
набросало как попало
то ли стекла,
то ли доски,
то ли судьбы.

Накорежило ветрами, накрутило,
перебило, точно звонкие баклуши,
зализало зябким снегом, словно илом,
то ли лодки,
то ли весла,
то ли души.

И по холоду тревожного простора
так и тянет, и влечет по снежной соли
к солнечным береговым узорам
не меня ли,
не тебя ли,
не его ли?

На середке ветряной стремнины,
у распутий бесконечных на середке,
вытянулись вдоль речной долины
наши судьбы,
наши души,
наши лодки.

БАРХАТНАЯ ТИШИНА

Хочу на Уссури,
где бархатная тишина
среди зарослей бархата
глухо лежит на снегах
и глаза белизной наливает до дна
взмах реки
и просторов раздольный размах.

Там заимка –
в сугробах избушка, в ней печь
и часы,
и стеклянная гирька упала на стол...

Нужно печку смолистой лучиной разжечь
и за пыльную цепь потянуть,
чтобы маятник, щелкнув, пошел.

А потом
взять ведро и –
на прорубь, к реке
через тишь побрести
и сдержать громкий шаг...

И тогда,
от избушки лесной вдалеке,
вдруг услышишь,
как маятник
щелкает
в старых часах.

* * *

Что за лакомство – боярышник!
Праздник на пороге зим.
Подойди и в алых ягодах
взгляд и губы увязи.

Если сумерки – он светится,
если солнышко – горит.
Потаенная улыбка
сникших елей и ракит.

В дождь раздвинь сырые заросли,
отрешись от всех невзгод –
вон как весело боярышник
на пиры свои зовет!

* * *

Не лицемерит мерзлота ни в чем,
и тундра
никогда не лицемерит.
Что было – было.
Никаким сучьем
его не отогнать от двери!

Секретов у земли полярной нет:
наружу,
наверх,
на поверхность
летом
выпластывает боль ушедших лет
сырым скелетом...

Ни имени, ни года, ни числа.
Лишь беспощадно солнечная тундра
и синева,
и птицы,
и чиста
прозрачность утра.

А рядом те,
кого он знал,
и те,
кого он не узнает и не встретит,
раскинулись в последней наготе –
им нечего скрывать
ни от кого на свете.

А ниже,
за болотом,
за холмом –

там трудный город
бурями ободран.
В каком из черепов,
каким умом
он выношен
и нам в наследство отдан?

О, откровенья северных краев,
О, кладбища безвестные в мерзлотах!
Здесь не осталось
ни имен,
ни слов.
Здесь правды нагота
лежит в болотах.

* * *

На картофельном поле,
меж грядок раскисших и старой ботвы,
загорелся, зацвел, засиял
неизвестно откуда и как залетевший
осколок далекого мира.

Он манил
рассмотреть, разглядеть, приобщиться
к тайне, им принесенной
из глубин мирозданья.

И к глазам мы его поднесли,
в мир далекий его заглянули
и увидели
поле,
разбредшие мокрые грядки
и поблекшие плети неведомых странных растений...

АПРЕЛЬ

В прозрачности орешниковой чащи,
в проемах отягченных облаков
апрель,
чуть начатой
и уходящий,
апрель –
весь новость
и уже не нов...

Хрустит листва в ладонях ломких почек,
скрипят ростки, просаживая дерн.
И каждый стебель в май пробиться хочет
и этим от апреля отрешен.

А надо ли?
Не замечать сегодня,
спешить сквозь дни,
не различая дней?
Ведь всякий миг –
исходный
и несходный
в неповторимой радости своей.

Невозвратимость каждого мгновенья!
Все –
только раз.
Путь времени жесток.
И никогда
весенние коренья
не гонят сквозь апрель
свой прошлогодний сок.

* * *

От угля синих звезд
не вспыхнули б вершины –
суха кора берез,
и душен дух полынный.

Тут серой и смолой
сосняк насквозь пропитан,
и полуночный зной
прилип к поникшим пихтам.

В такую сушь и тишь,
и темную жарищу
от совьих глаз сгоришь,
и пепла не разыщут.

С опаскою бреду
сквозь ночь пороховую
и звездную беду
над головою чую.

* * *

Мне дайте пеночку,
чтоб тенькала,
чтоб утром
в ушах стоял весенний звон,
чтоб лес,
предчувствуя броженье соков смутно,
все ветки побросал на дно небес.

Пусть на палатку пухом сядет иней,
и стрелы льда насквозь пробьют ручей.
Есть доброе тепло
в самой светлыни,
в рассветной россыпи
пернатых и лучей.

Снег жмется, обходя бугры сторонкой,
и неприязнь к нему я не таю –
мне дайте пеночку,
чтоб тенькала,
чтоб тонко
тревожная весна
стучалась в грудь мою.

* * *

Этот берег...
Деревья, кусты и река.
Только корни реки
уходили в века
и питались не каплями талой воды,
а вбирали
судеб затаенных
следы.

Бурлаки приложили печати лаптей,
рыбаки замахнули туманом сетей.

Цепь из вмятин босых
через вымокший ил
кто-то в омут закинул
и там позабыл.

И горящая нефть
языком ледяным
города облизала и сдула, как дым.

...Пластовался закат,
и дымилась звезда
там,
где зыбко и зябко дрожала вода.

Генриху Волкову

* * *

Поджарые сосны и тощий вереск,
и тонкие иглы в сухом песке.
И сучья скрипят, словно старые двери.
И лето висит на одном волоске.

Но плывут еще смолы, на солнце растаяв,
колышется над дюнами слоистая хмарь,
и все глубже годичные кольца врастают,
и время в стволах каменеет, как янтарь.

Когда-нибудь
присмотришься к неровному срезу,
разыщешь глубоко запрятанный слой –
и снова сучья скрипнут старым железом,
и лето,
прощаясь, повиснет над головой.

* * *

Тала́ из свежего сига,
наструганная на морозе,
и уссурийские снега,
и даль реки,
и след полозьев.

А древний вкус талы, как песнь.
Пусть лепесток во рту растает –
в нем что-то от просторов есть,
от трав, рожденных в этом крае,
от всех цветов приречных пойм,
от длинных водяных растений...

Не жуй талу,
а тихо пой,
как слово древних песнопений.

* * *

Большой нелепый город
по берегу вразброс.
Он просвистом пропорот
и продымью пророс.

Он врастопырку скачет
в овраг и на увал.
Кварталы раскорячив,
он свалки в них умял.

Наторкал огороды,
натыркал дыр и ям.
В затурканной природе
он – как сплошной изъян.

И пыль его и копоть,
цвет сажи и свинца
ползут, чтоб душу слопать
и высосать сердца.

Так почему же тянет
уживчивых людей
с округи берестяной
к его крутой страде?..

* * *

Птицы сирин и феникс, и жар –
блекнут, крылья раскрылив одрябло...
Спозаранку –
синичий базар
на ветвях между праздничных яблонь.

Что за сказка –
услышать сквозь сон
за окном щебетливую свару!
Ты на целые сутки спасен
от деляческих свар и угара.

Мигом встанешь –
от сна ни следа,
зябко выйдешь в студеные сени.
И в ведре – ледяная вода,
и в душе – тишина предосенья.

Эта грустная радость синиц
заполняет весь мир без остатка.
И вселенские грани границ –
чуть вздохнешь –
заколеблются шатко.

И доступна высокая тишь –
выше вер и чудесней поверья...

А под яблоней, как поглядишь, –
перья сирина,
феникса перья.

* * *

В июне топим печь –
так ночи холодны.
Тепло трещат дрова под цокот соловьиный.
В окне лучится лед и неба, и луны,
В окне все длится день,
длиннее жизни длинной.

В июне
жар смолы и угля жар слышней.
И легче дышит печь,
и дышится легко мне.
И в кущах под окном
стреляет соловей
и пробивает тишь
сердец и тесных комнат.

* * *

День свеж и рыж,
и ветер к югу сносит
негреющее пламя лозняка.
Река синя, как дым,
и гулко дышит осень,
подняв в душе мятеж
огня и сквозняка.

Костер лесов.
Прозрачным вихрем взмыта
вся охра, медь и золото земли.
Насквозь гудящим пламенем пропитан
горю в огне цветов,
что летом отцвели.

И радостно,
и жаль, что время гасит краски,
что бьет октябрь в усталый бубен крыш.

Иду через кусты,
бреду по глине вязкой,
шагаю без дорог...

А день и свеж и рыж.

* * *

Был Урал
не Северный даже,
а Полярный,
поезд был –
встал на полустанке среди тундры.
И меж этой широты
сидеть в вагонной духоте угарной
просто непосильно,
а не просто трудно.

Неподалеку – дощатая палатка.
Оказалось, как ни странно, пиво
и, конечно, водка.
Взяли то и се,
(но чтоб не валко и не шатко),
на пригорок отошли
и выпили за ясную погодку.

Там сдувало комаров,
и, повалившись на багульник,
мы глядели, как простор
грызет хребет Урала.
И так празднично нам было,
так привольно и разгульно,
что душа сама
протяжно песню закричала.

И только старый инженер петь с нами не заладил,
уселся в стороне
и понурился к осоке.
И Урал уходил
парусом по глади
в годы,

в тундру,
в океан,
незнакомый и глубокий.

* * *

Разверзлись дали –
тянут, словно пропасть.
Пропасть в них,
броситься проломом через чащу
или вонзиться в лодке, чтобы лопасть
весла
ловила взгляд их, долгий и манящий.

Как не было туманов и томленья.
Уста простора празднично отверсты.
В огне прозрачном плавятся поленья –
конец костру, начало взяли версты.

Теперь пусть будет солнечно и звездно.
Кто лад нашел, тому не сбиться с лада.
И дали
разверзаются, как бездна,
в которую всю жизнь привольно падать.



ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ



ЗАКЛИНАНЬЕ

Шаманий бубен, а не лед озерный.
Оскал костра – не облака заката.
И дни – пока не дни, а только зерна,
которыми твоя судьба чревата.

Ударь по бубну, в поднебесье выкинь
шального ритма рваный рык и рокот,
чтоб дрогнула под снегом кровь брусники,
из тьмы столетий грянул глас пророков!

И, продираясь дебрями, дырявя
закатный огнь судьбой своей безвестной,
ищи себя, царапая коряво
узор шаманский первозданной песни.

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я встретился вчера с самим собой
и не узнал себя, в себя вглядевшись.

Лицо мне показалось вдруг чужим –
в глазах тревожно тлела умудренность,
которой раньше я не ведал,
спрямило губы знанье,
и пропилила лоб неистовая мысль.

Как я вселился в незнакомый облик?
Что за пути потайные прошел?

И знание, и мысль, и умудренность
добыты были мной подспудно,
накоплены неслышно год за годом.
И приобщившись к ним, я стал другим
и не узнал себя.

Я в сердце заглянул,
провел ладонью
по незнакомому плечу в моей рубахе...
И токи беспокойных скрытых сил
меня кольнули зло и незнакомо.

Я начал понимать –
все то, что раньше проходило мимо,
что было достоянием других,
а мной не принималось,
как низменное
или слишком высокое,
теперь пришло ко мне
и захватило
рассудок мой и сердце.

И вот я не могу себя узнать.

Я начал понимать –
у сердца есть своя неведомая жизнь, свои законы,
которые в сознанье входят,
когда свершились
и овладели полностью тобой.

Я весь другой –
и помыслом, и сердцем,
но сам к себе, другому, не привык.

О, теснота словес неизреченных
и стиснутость невыплеснутых сил!

Казалось бы, не вовремя,
когда определилось все и устоялось,
когда себя знакомым стал считать –
все сломано,
все снова начинать!

Как труден перелом,
когда встречаешь
средь жизни незнакомого себя!

* * *

Все глубже погружаюсь в годы,
все ближе илистое дно...
Там, где ни ходу нет, ни броду,
мне тоже илом стать дано.

Не от того, что сердце ропщет,
не потому, что свет не мил,
я просто по судьбе всеобщей
вольюсь в первоосновный ил.

Осяду медленной частицей
во тьмы таких, как я, частиц,
и даже всплеска не случится
меж безднами сердец и лиц.

Уйду в безвременность пластовий,
где средь сгоревших душ и дел –
пределы круговертей крови
и беспредельностей предел.

ТИХИЕ ДАРЫ

Сбираю тихие дары
грибов, брусники и покоя.
Пора пришла,
а до поры
они и поиска не стоят.

Жизнь провела предельный круг,
где за чертою – нет предела.
Деревья тянут сорок рук,
делясь листвою поределой.

Я милостыни не стыжусь –
душа давно бредет в лохмотьях.
Хочу, как бересклетов куст,
прикрыть прорехи теплой плотью.

И лист, слетевший предо мной
с лещины на овражном склоне,
лежит заплатой золотой
на прочном нищенском нейлоне.

КОРОБ

В невидимом коробе за спиной незаметно копятся дни,
месяцы, годы,
короб тяжелеет и все ниже пригибает тебя к земле.
Но он невидим,
и ты, как всегда, веришь: лучшее дело твое впереди.

«Вот возьмусь как-нибудь и придумаю такое, чего
никогда не бывало,
что осчастливит мир,
вот примусь и воздвигну памятник Времени,
вот сяду за стол и напишу книгу, которая долго будет
радостью людей.
Только надо как-то отрешиться от суеты и мелочей,
выбрать время, взяться, приняться, сесть...
Все почти готово, все в голове, надо только взяться,
приняться, сесть».

И намеренье это, молодое весеннее, живет в душе,
веселит.

А невидимый короб за спиной все полнится днями,
годами, десятилетьями.

И ведь совсем немного надо,
чтоб придумать, воздвигнуть, написать.
Надо
не «когда-нибудь» –
сейчас,
тотчас
придумывать, воздвигать, писать.
Потому что «когда-нибудь» значит «никогда».

А невидимый короб с каждой минутой все тяжелей.

* * *

Мы там еще живем,
пока мы живы,
мы там,
хоть не бываем никогда...
Минуя верст и времени разрывы,
стучимся в отошедшие года.

...И вот изба, и запах меда с мятой,
хоть нет давно ни меда, ни избы.
Грубеем, жизнью терты и измяты,
лишь корни чувств нежны и не грубы.

И удивленность первого познанья
познаньям поздним нашим не чета –
ведь мир, где краски – радуга фазанья,
нам заслонила
трезвая тщета.

Мы тайно там живем,
пока мы живы,
туда стучимся и отраду пьем,
и, проторив житейские извивы,
как в радость,
входим
в прошлое свое.

ТАИНСТВО ПЛОТИ

...Есть таинство плоти,
которое смутно начнешь постигать
по прошествии лет.
Все таинства прочие
просто обрящете и обретете,
а это
есть таинство таинств,
а это –
наитье, открытье
в себе, в неподвластных глубинах,
неведомых сфер и планет.

Вселенная в теле твоем.
И чело не возвышенней чресел.

Вдруг сумрачно, сонно забрезжит однажды –
как будто сквозь ночь,
сквозь пространство
призыв от далеких светил –
и ты,
иссушенный заклятьем неведомой жажды,
бросаешься в поиск,
влекомый бореньем взбесившихся сил.

Все прошлое –
то, что изведал, что стало знакомо,
не в счет –
стерто, смято, разбито...
Встает пред тобой
первозданным бесформенным комом
незнакомое, новое...
Что? Непонятно.
Распев ли, расцвет иль разбой...

Что-то новое
в год,
когда все под луною не ново.
Что-то светлое
в час,
когда сумерки выпьют окно.

Постигается смысл
не сквозь мысль или слово,
а чрез плоть,
где не слово –
одно лишь присловье дано.

В этих придыхах, вздохах,
в неистовстве и бормотанье
вдруг
отверзлись глубины,
открылись наречия недр.
Ты неведомый мир обретаешь в братанье
с первозданной природой,
где миг,
как столетие, щедр.

«Приходите».
Когда?
Не скажу и не знаю.
«Распознайте».
Но как?
Никому не понять.

Это таинство плоти
протяжно взывает
сквозь моря и миры,
пронизав каждый миг

и позыв,
и познанье,
и каждую пядь.

* * *

Не жалей о сделанном,
не тужи о прошлом.
Прогоревшие дрова
деревом не станут,
листьев не распустят.
Самый жалкий человек,
самый безнадежный,
кто терзается:
«Ах,
тот цветок не сорван,
что зацвел на заре
прошлогодним утром...»

* * *

Отцвел багульник,
отошла пора.
Ждать больше нечего –
пора и восвояси.
Бессребренику не до серебра.
Слепцу наш мир и без светила ясен.

Я шел в просторы не за серебром.
Я, как слепой, отроги палкой щупал,
чтоб услыхать, как скачет ломкий гром
и как гремит хвостом об воду щука.

Я отыскал, что захотел. Я рад.
Пора прошла,
но я пришелся впору
поре, где облака, паря,
себе не ищут твердую опору.

Цветы безмерной жизни не хотят.
Отцвел багульник и не сожалеет.
И омули, спасая омулят,
сеть отягчают добротой своею.

Прощаясь, не прощаюсь, а учусь,
как растворяться в воздухе и в водах.
Отцвел багульник.
Ни к чему тут грусть.
От праздника ведь тоже нужен отдых.

ЗЛО

Так рождается зло.
Начинает клубиться в мозгу
клок слепого тумана.
Диск безумной пилы начинает вращаться.
Загорается злая звезда,
и лучи ее жесткие
бьют по вселенной,
заключенной под черепом нашим.

Застилает туманом глаза.
Позабыто все доброе,
все, что цвело, веселило и пело.
Радость сердца уходит ко дну, захлебнувшись.
И зловещие птицы
гасят черным крылом
проблеск добрых надежд.

А пила своим диском клыкатым
режет нежные нити,
что с прошлым сплели наше сердце,
валит дерево дружбы
и кольца любви рассекает.

Ничего не осталось –
лишь бешено скачущий диск
и обрывки привязанностей,
и опилки дерев,
что так долго и мудро
мы растили когда-то.

Вот тогда возникает
вселенная зла
с мрачным,

вязко чадящим светилом.
Смоляные лучи
просекают наш мир.
Черным варом обварена совесть.
Память выжжена.
Пепел надежд завивает иссушенный ветер.

И среди этой серой пустыни
ты, как странник,
изгнавший себя
из приветливых светлых просторов,
отрешенно влачишь свое бремя.

И горит смоляное светило
над иссеченным злобою лбом.

СКОРЛУПА СЕБЯЛЮБИЯ

Как, наверное, страшно –
быть затиснутым в скорлупу себялюбия
и не иметь даже смелости птенца,
проклевывающего выход наружу.

Не видеть пестрого мира,
наполненного чужими судьбами,
не понимать голосов людей, листьев и птиц.

Как, наверное, страшно –
окружиться самим собой,
одеться в себя самого,
приукраситься самим собой.
И прислушиваться только к своей речи,
к работе собственного желудка, сердца, головы,
к покалываниям и побаливаниям...

Майский ливень с молниями,
наполняющий мир неистовым светом,
горечью тополей и трепетом травы –
всего лишь опасность промокнуть.

Февральская метель,
пробивающая простор колючей белизной,
снежные костры на крышах –
лишь повод, чтоб не выходить на улицу.
Человек, говорящий о дожде и метели, как о чуде –
чудной чудак.

И эту скорлупу себялюбия
нельзя пробить ни дождем, ни метелью, ни словом.
Ее нельзя пробить снаружи ничем.
Ее можно пробить только изнутри.
Но для этого надо иметь хотя бы смелость птенца.

* * *

Купите, что хотите – чреда вещей пестра!
Купил бы тень
от дыма осеннего костра...

Отправлюсь вдоль прилавка.
Меж ярмарочных лиц
почудился бубенчик зарянок и синиц.

На вешалках,
где шубы искусственных мехов,
попробуй, обойми-ка объемы облаков!

Стеклянные разломы стаканов и зеркал
сомкнутся и напомнят нетронутый Байкал...

В бесплотном и бесплодном искании моем
невызревшая зрелость идет поводырем.

Доказывать не стану (что может быть тощей!)
ненужность самых нужных прилавочных вещей,
незрячесть самых зрячих и деловитых глаз,
безжизненность житейских поделок и прикрас.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Годы и дни – как пчелиные соты.
Столько их набралось!
Расставить по ульям – получится пчельник.
И ты,
как от пчел, отмахиваясь от мелочей и суеты
сегодняшнего дня,
заглядываешь в ульи
и все чаще
начинаешь замечать соты,
запечатанные клеймом
«последний раз».

В сорок первом...
Оставалась неделя до войны...
Но кто знал, что неделя?..
Ты шел вместе с другом. Был жаркий день. Пили
газированную воду.
Остаток воды из стакана он плеснул себе на грудь.
Рубашка намокла, прилипла к телу.
И вы рассмеялись из-за этого пустяка.
Потом он протянул руку и сказал: «Пока».

В октябре он погиб под Волоколамском.

Отыскав в сотах прошлого тот день, ты только сейчас,
через десятки лет,
понимаешь –
тогда у ларька газировщицы
в последний раз видел его.

Надо бы задержать его руку,
спросить о важном,
о самом главном –

о смысле жизни,
о движениях судеб,
о грядущем...
Но тогда ты видел лишь мокрую рубашку,
и вы смеялись, и он сказал: «Пока».

И еще
ты притрагиваешься к сотам прошлого и наполняешься
шепотом женщины.
И весенние запахи земли, черемухи, первых трав...
Она шепчет, и не разобрать слов, но шепот остается
в душе.
И прикосновение рук ее – как праздник.
И прощанье на лунной тропе.
Ее губы.
Тогда ты думал, что придешь еще и еще...
Ты не знал, что губы ее, земля, травы, черемуха –
в последний раз.

Остаться бы тогда до утра и на весь день, и на неделю,
и на годы.
Но ты уходил
в последний раз.

О, если б знать, когда последний раз!
Но, пожалуй, лучше не знать.

Вот ты на пчельнике своей памяти и отмахиваешься
от мелочей
и суеты сегодняшнего дня, как от пчел, мешающих
заглядывать
в ульи, рассматривать соты...
И ты не думаешь, что мелочь, от которой сейчас
отмахнулся,
вовсе не мелочь,

ибо это – в последний раз,
как мокрая рубашка друга,
как шепот женщины на лунной тропе...

В последний раз.

* * *

Почаще делайте, как хочется,
живите без оглядки чаще.
Желанья – как деревья в рощице:
начнешь рубить – не станет чащи.

Побольше безрассудства!
Радости
насквозь и напрочь безрассудны!
Где шкипер не шалел от ярости –
на рифах погибало судно!

Жить без расчета, жить, как хочется –
пусть год и миг равны, как глыбы.
Чтоб в чащу превращалась рощица,
суда сквозь рифы плыть могли бы!

* * *

Есть горе слезное,
навзрыд,
сзывающее на подмогу,
оно в окно и в дверь стучит,
рвет волосы
и бьет тревогу.

Есть горе страшное,
молчком,
когда виски руками сжаты
и седина косым клоком –
за ночь бессонную расплата.

Есть горе тихое, как грусть,
есть горе дерзкое, как смелость...

Я знаю горе наизусть.
Чтоб знала ты – мне б не хотелось.

ЧАСЫ ВЕСНЫ

Пружины трав заведены
тревожно и упруго.
Спешат вперед
часы весны,
часы полей и плуга,
часы зачатий и начал
людей, зверей и злаков...
Часы, где я не отличал
полдневный свет от мрака.
Где жизнь вбирала целый век,
вмещаясь в одночасье.
И лес
качало, как ковчег,
весеннее ненастье.
Тревожный сумрак наставал,
и в поросли смятенной
меня
дорогою начал
влачило по вселенной.

* * *

По-зверьи уходить в леса
от электроники и шума,
бросаться в чащу
и бросать,
что пережил и передумал.

Искать побеги трав и древ,
в оскал костра смотреть из ночи,
где филин на сосну взлетев,
свой символ жизни пробормочет.

Ковшом берестяным
черпнуть
воды со звездной посолонкой
и навостриться в дальний путь,
деревни обходя сторонкой.

Но где-то на глухой версте
вдруг
мысль.
И примешься в сутемы
чертить углем на бересте
набросок электронной схемы.

ОСЫ

На яблоках,
около меда,
на липких натеках варенья
полосатеют тощие осы.
Им – последнее объеденье,
а нам грусть –
это осень.

Осы –
острые злые шипы
на розах арбузов.
Осы –
цепкие ости
на пряных ковригах.
Не медом единым
обильное время огрузло,
есть в нем жало и желчь,
есть мучение сладкого мига.

Не прогнать, не изгнать, не избыть, не избавить
от ярма этой ярости желтополосой...
Чуть потянешься к меду,
к невинной забаве –
руку ранят
осколками острыми
осы.

* * *

Когда поймется: больше не могу,
оставлю все
и прыгну в лодку,
и оттолкнусь от берега,
оставив на лугу
лишь след в траве,
чуть видный и нечеткий.

А на воде не будет
ни следов,
ни вмятин пальцев –
ничего не будет.
И ломким оловом белесых берегов
все прошлое река полудит.

Забвение туманов и росы.
Прозрачное речное равнодушье.
Здесь жизнь
и смерть
положишь на весы –
не дрогнут чаши, скованные глушью.

ПРОРУБЬ

Беру пешню
и
бью в оскал зеленый,
ломаю
льда и наледи заслоны!

На снежных искрах,
словно сизый голубь,
синее неба
высветилась прорубь.

Теперь
ведром помятым зачерпну
из-подо льда добытую
весну.

* * *

Доверьтесь незнакомым,
неизвестным,
не виденным,
не слышанным,
вон тем,
кто не бывал и рядом с вашим домом,
кто никогда не видел вас совсем.

Не ждите ничего.
Пусть гложет
печаль.
И кто-то,
как из-под воды,
придет из неизвестности,
поможет,
и в неизвестность уведут следы.

* * *

Есть лоция моря
и лоция рек.
Нет лишь лоций судьбы,
жизнью сверенных лоций.

Волны встреч и прощаний стучатся о брег,
и по скалам времен
пена горькая бьется.

Но где скалы?
Где берег?
Где штормы?
Где тишь?
Где разлуки?
Где встречи?
Где встречные ветры?
Ты на грани мгновенья неловко стоишь
и не знаешь, где грань,
и не ведаешь, где ты...

Прорицанья вещуний?
Их шепот нелеп.
У пророков искать этих лоций не надо...
И, наверное,
в этом
вся прелесть судеб,
вся их трудность,
вся горечь
и вся их услада!

* * *

Как странно простирают рукава
ветрами вспузыренные рубахи.
Как будто в них душа людей жива
и вырывается наружу в каждом взмахе.

Сокрытые желания людей
тут, на ветру, беснуются открыто,
становятся и зримее, и злей,
пройдя через чистилище корыта.

Зовут кого-то, молят и манят,
взъярясь, остервенело машут,
не думая: впопад иль невпопад,
отбросив напрочь щепетильность нашу.

Их жест несдержан, он нелеп, но лих
и без оглядки режет о предмете...

И жаль становится, что откровенья их
выслушивает только ветер.

* * *

Прихожу проходить курс лечения
ручейной водой, птичьим пением,
дрожью дыма над рыжим костром,
непогодным покоем под гром,
пестротой травяного веселия,
где с пчелою на клевер присел и я...

Пусть заспорит иной костоправ,
курс леченья такого поправ.
Не оспорив права костоправа,
тихо скроюсь в деревьях и травах.

* * *

Когда душа переболеет
и сердце выболит до дна –
добрей становимся и злее,
и суть судеб ясней видна.

Та доброта под стать вхожденью
в другие души и сердца.
Она включается в их звенья,
чтоб зло и злобу отрицать.

И злость от этого острее,
и жестче жало мудрых глаз.

Как доброта и злоба зреют,
когда страданье гложет нас!

* * *

Восход, закат ли – равно медны.
Едино: сеятель и жнец.
Мой каждый день –
как бы последний,
и каждый миг – как бы конец.

И вдох так к выдоху прижало,
что бытие
в небытие
свое протягивает жало
и время горькое свое.

ПОСТУПЬ ЛЮБВИ



* * *

Смыкаются невидимые двери,
и кажется – их створки не разнять.
При расставанье никогда не верю,
что позже мы увидимся опять.

Но где-то там, нежданно и случайно,
законы расстояний преступив,
ты возникаешь трепетно
и тайно,
звучишь опять, как прерванный мотив.

Пытаюсь разгадать тебя, пытаюсь
запомнить, чтоб всегда носить с собой...
Но снова створки строгие, сдвигаясь,
смыкаются бесшумно за спиной.

* * *

Из дыма волосы,
глаза из бликов,
и губы – как разлом медовых сот.
И проступают капли земляники
там, где ступня среди стеблей встает.

Идешь между звенящих зноем сосен,
по лугу, по куриной слепоте.
Как жаркий мех,
на плечи полдень брошен,
а плечи –
зависть белой бересте.

Не уловить тебя в мои тенета,
силками силы тоже не поймать.
Лишь осенью,
когда ломают соты,
мне с горечью
о меде вспоминать.

* * *

Забыл слова, забыл напев я,
забыл и голос, и наряд.
И только древние деревья
обличье давнее хранят.

И оказавшись у стволов их,
как бы во сне опять живу
напевом, обликом и словом,
что здесь звучали наяву.

* * *

Нет, это не для слуха,
не для зренья.
Лишь сердце чует, сдерживая страх:
пружиной ржавой
выпирает время,
не помещаясь в сломанных часах...

Слова не умещаются в сознанье –
смысл раздирает одеянье слов...
Все вперекос.
Какое наказанье,
когда беда срывает с бед засов!

И сворою в распахнутые створы
кидается вся горечь и вся боль,
и жизнь – пустяк в круженье этой своры,
и на губах – одна морская соль.

И сломаны часы, как память об утрате...
И сердце больше не желает жить.
Но все же
под разбитым циферблатом
еще пружинка слабая дрожит.

* * *

В эту ночь, что черна и бела,
для тебя одеяньем была
тьма и тишь,
и тугие браслеты
из зеленого лунного света,
узкий плат
весь из прорезей лунных,
да волос молчаливые струны,
да по звездочке синей в ушах...

Ты все это сняла, не спеша.

Но запомнились
только браслеты.
Где нашла,
потеряла их
где ты?

* * *

Я боюсь поездов.
Этот крик тормозного железа
проникает сквозь сердце
и горечью губы кривит.

Жизнь разрезана,
город твой – напрочь отрезан,
ты отрезана –
рельсы уходят в зенит.

Но когда лапы лиственниц
осень проржавит
и осинник осыплет фольга и слюда,
когда дождь,
припадая к окну,
в сотнях капель тебя отражает,
я люблю,
я люблю,
я люблю поезда!

* * *

На пашне – яблонь лепестки,
на первозданных комьях – чудо.
Прощальный взмах твоей руки –
весны последняя причуда.

Все возвращается к земле,
к ее пластам животворящим.
От давних весен разомлев,
мы лепестки по пашне тащим.

Отставший от костра огонь,
отходит к теплоте вчерашней.
И вот уже твоя ладонь –
как лепесток за свежей пашней.

* * *

Разве что-нибудь значит,
о чем говорить?
Лишь бы голос услышать,
один только голос...
Дрогнул голос, как волос,
как тонкая нить –
и стекло расстояний тотчас раскололось.

Будто губы коснулись,
как будто ладонь...
И не провод,
а просто вот здесь, где-то рядом...
Теплый воздух призывно и трепетно тронь –
и пронижет
пронзительно-нежным разрядом.

...А о чем говорили,
не помню, забыл.
От рассеянных слов и не ждут урожая.
Только голос
знакомыми взмахами крыл,
расстоянья сломав,
нас с тобою сближает.

* * *

Был хворост
и запах весенней земли,
и прозелень веток над нами...

Тот хворост
в тугие плетни заплели
и нас разделили плетнями.

А хворост был мягок...
И ярок был день,
шмелями гудящий упруго.

Как мог этот хворост завиться в плетень
и нас отделить друг от друга?

Зажечь бы его на прощанье костром,
спалить,
чтоб следа не осталось,
чтоб ломкие угли хрустели потом
и травы
сквозь них пробивались.

* * *

Хочу стать кувшином,
чтоб ты в меня вылилась терпким вином.
Пусть гончар меня сделает добрым кувшином,
чтобы ты отстоялась во мне,
обрела свою крепость и свой аромат.
Пусть я стану лишь глиняным грубым сосудом –
лишь бы ты поместилась в меня,
лишь бы стало удобно тебе
изнутри обнимать мои стенки.
Роспись мне не нужна,
украшений на горло не надо.
Стать кувшином,
наполненным только тобой,
лишь тобой – до высокого горла.
О, гончар, обжигай меня осторожней!
Если трещина будет –
вино не удержится долго,
оно утечет,
я останусь пустым...

Я хочу стать кувшином.
А ты?
Ты захочешь стать терпким вином?

* * *

Колечко – в колодец,
сережки – в реку,
алеет платок на корявом суку...

Пошла поперек, не хотела поладить.
Ни ладу,
ни сладу,
ни сада в ограде.

И дом опустел,
и не топится печка.
Сережки в реке, и в колодце колечко.

* * *

Под утро дождь.
Конец.
Упало лето –
на глине поскользнулось, ослабев.
Ты, в незнакомый плащ переодета,
идешь в глуби изодранных дерев.

За прорезью листвы
так смутно и так робко
прочеркнут контур зябкого плаща.
Дни прошлые
в осенней темной топке
намокшими поленьями трещат.

От их огня
душе все бесприютней.
И ждется
только изморось да снег.

Играет осень на старинной лютне
одну и ту ж мелодию
для всех...

* * *

В березах
свежим нахлестом –
зеленая метель –
ворота влажных веток
срываются с петель!

В пролет – навылет лихо
бьет ливень листья влет.
И кожура от почек
жуками в синь плывет.

И прядь волос,
как молния –
через лицо стрелой,
и губы,
как зарницы,
сулят весенний зной.

Зелеными сугробами
всю рощу замело.

Когда все это было?
Куда это ушло?

* * *

Ярость солнца азийского
на плечах твоих, на руках, на груди.
В волосах – душный дым саксаула.
Это пламя песков.
Это кровь разъяренно гудит.
Это ты
своим жаром неистовым
к встречному жару прильнула.

Открываю губами
соленый миндаль на губах,
угораю
в углях твоих жадных жаровен.
Растерзала – пропал
и тобою пропах.
Сам себе я не равен
и трудным дыханьем неровен.

Задыхаюсь,
в любимых барханах тону,
таю,
тайну таю и тебе не открою.
И на ощупь бреду
в полусне к полусну
незнакомой
и вечно знакомой тропою.

* * *

Не берегут любимых,
не щадят.
Всю тяжесть – им,
и все несчастья – им.
Во времена любви
среди счастливых дат
их душат горем пасмурным своим.

Любимых мучат,
жучат день и ночь –
любовный пыл безжалостен и лют.
И чем счастливей любят,
тем жесточе
терзают злом
и тяжестью гнетут.

* * *

Весь день был снегопад.
Горел костер.
Смешалось шуршанье снега с шепотом огня.
Смешались наши взгляды,
и смещались
круги судеб
к тебе и от меня.

Ломились ветви.
Густо пахла хвоя.
Весенняя тоска была остра.
И руки, прорастая, как побеги,
тепла искали,
но не у костра...

Последний снег
и первый день весенний,
и тонкий звон невидимых синиц,
и капли, с лап заснеженных свисая,
касаются то рук, то губ, то лиц...

ВЕШНЯЯ ТАЛОСТЬ

Старинным ключом отперла этот город,
вошла и впустила весеннюю сырость.
Вздохнула – и лед на реке перемолот,
и пар, как подснежник, над площадью вырос.

Всю копоть и накипь сгоревших столетий
скользящей улыбкою с города смыла,
омыла капелью меня на рассвете
и пылкость мою сберегла от распыла.

Сберегся у губ запах талости вешней,
у волглых волос привкус ветра и дыма.
И не было наших объятий безгрешней,
и нету любви, что как наша ранима.

...Тот город остался давно и далеко,
но в чудо твое не могу я не верить.
Я знаю: ты ждешь невозможного срока –
опять отпереть его древние двери.

* * *

Все знаю: там руки и губы в малине,
березовый лист холодит
лоб и плечи,
роса в волосах и траве, точно иней,
у глаз светляки, словно синие свечи.

Я знаю – там душно в тумане поляны:
костры на щеках,
и под сердцем уголья,
и в каждом касанье, как в пламени пряном,
голодная радость соседствует с болью.

Все видел, все знаю,
но снова еще бы
пошел, когда полночь уже на излете –
послушать, как льет тишина из чащобы
неслышную музыку
леса
и плоти.

* * *

Стать дурочкой,
полнеющей от долгих поцелуев,
есть сладости,
пить легкое вино,
день путать с ночью,
радость кожей чуять
и видеть явь, как продолженье снов.

Проснуться в полдень,
скомкать одеяло
и, яблоком заев влюбленный взгляд,
подумать, что и многих взглядов мало,
когда глаза влюбленные глядят.

А в полночь
лунный луч поймать ладонью,
продрогнуть, утомленной и нагой,
и в волосы закутаться спросонья,
и узкий туфель отыскать ногой.

Жить радостно,
жить чувственно,
чтоб губы,
чтоб груди и глаза здоровьем зацвели...

Пусть это грубо.
Только словом грубым
не называйте радости земли.

* * *

Как мы хохотали!
Ни с чего, ни над чем.
Как избушка смеялась,
как печку смешило,
как улыбки и отсветы бились у стен –
все кружилось и пело от праздничной силы.

Волосами, как пламенем, взгляд заслоня,
в землянике лесной,
в горьком духе полынном,
ты вставала – сплетенье теней и огня –
и сквозь пальцы текла терпким дымом.

Головешки стреляли навылет сквозь нас –
мы легки и прозрачны, как запахи луга.

И по искре сырой загорелось у глаз.
Вот и все.
Завтра мы потеряем друг друга.

СЕВЕРНАЯ СВИРЕЛЬ



* * *

Водорослей принесу и листьев,
окна занавешу старой сетью.
Ломкий гул волны,
как дальний выстрел,
будет в дом входить
лишь раз в столетье.

Раз в сто лет –
чтоб не забыть про время...
А между ударами волны
пусть в печи сосновые коренья
нам поют из гулкой тишины.

Их тепло не может быть теплее
наших рук
и наших губ,
и глаз.
Мы хотим, чтоб огненные змеи
дымным взглядом
холодили нас.

Чтобы елок смоляные плети
шишками стучали в нашу дверь,
и волна,
как выстрел,
раз в столетье
отделяла «было» от «теперь».

* * *

Тайга пахнёт пчелиным ядом
и медом падевым пахнёт,
и смутно стану
где-то рядом
искать янтарь тяжелых сот.

И смутно колыхнется радость,
что запахом твоих волос
до дна долина пропиталась,
и воздух праздничный пророс.

И там по осыпи горячей
к камням заросшего ручья
ты вышла из тревожной чащи
и растворяешься в лучах,
и льешься воском разогретым,
и дымом убегаешь ввысь...
Зачем под пасмурным рассветом
пути и пальцы расплелись?..

И вот теперь бреду без брода
через ручьи в разломах гор.
Дурман багульника и меда
цветочной пылью застит взор.

* * *

Завешены дали дымком диковатым.
Сырые следы до костра добежали.
Облиты росою и дымом объяты,
согрелись ладони, а плечи дрожали.

И пламя гудело нам в самое ухо,
и волны катали гремящие камни.
И рядом была только наша присуха,
пропахшая кедрами и родниками.

Гремел котелок, и шипели уголья,
и сладкие клубни саранок желтели...
Все помнится, видится с радостной болью
сквозь время, сквозь лохмы насупленных елей.

Кедровые шишки, печенные в углях.
Раскидистый запах смолы и ореха
в твоих волосах,
на щеках твоих смуглых
и в праздничной тайне вечернего смеха.

* * *

Беззвездие
и ночь,
и дальний шум прибоя,
и мшарая тайга в непрогляди густой.
Иду на слух,
и ты идешь за мною,
и вместе нас ведет
невидимый прибой.
И мы во тьме невидимы друг другу.
Кто ж нас позвал?
Кто нам в ночи пропел?
Кто вплел в наш путь к увалам и яругам
неслышные шаги на моховой тропе?

Не знаю.
Только с нами кто-то третий.
Незримо он затеплился в тебе.
Судьба ли мне его с тобою встретить,
и нам втроем пробиться по судьбе?

Мы лишь вначале.
Берега Байкала
прозрачны, как сиреневая вязь.

Так долго небо светом набухало,
так сразу падь от солнца занялась.

Теперь пригоршней в заводи укромной
черпни настой рассветного огня!

...Чего ж не пьешь?
И дышишь так неровно,
и так прощально смотришь на меня.

ТАК НЕ БЫВАЕТ...

Чтоб озеро тихо дышало у скал,
чтоб пристань и старые сваи,
чтоб здесь тебя к вечеру я отыскал,
хоть знаю: так не бывает...

И вставлена тонкой слюдой синева
в проемы средь скал и в прорубы,
и мечутся птицами наши слова –
ловя их, поймаешь лишь губы.

И крики кедровки в кедровом бору...
И сердце в неведомом крае.
Я губы сухими губами беру,
хоть знаю: так не бывает.

* * *

Весенний грохот лыж о наст
и смоляная свежесть елок,
и нестерпимо в снежный пласт
впился луча цветной осколок.

И птица первая дудит
с полудня в ледяную дудку,
и почки у седых ракит
уже не спят, а дремлют чутко.

Стал снег, как бусы из стекла.
Ручей, как ржавая подкова.
Зима почти что истекла,
и все потечь давно готово.

Последний раз о снег гремят
набрякшие водою лыжи.
И твой сквозной весенний взгляд
проталину на сердце выжег.

* * *

На Лене лед.
На Колыме снега.
На Индигирке темное ненастье.
Но и зима не так со мной строга,
как ты,
и, видно, это к счастью.

Уйду. Аэродромы приютят
и перебросят в дальние пределы.
Я буду нищетой своей богат.
Наверное, ты этого хотела.

И стану пустоту своей груди,
как ватой, забивая облаками,
свое тепло безжалостно студить
чужими взглядами, реками и руками.

Но как мне быть среди крутых невзгод,
средь маеты, мучений и усилий,
когда окажется,
что пустота и лед
одну тебя
до сердца просквозили?

* * *

Приишимье завернулось в индевелый лен берез.
Прииртышье запахнулось в снеговой тулуп метели.
Серебром берут сегодня на реке за перевоз –
по полтиннику с копыта
заработать кто-то целит.

Там,
на льду,
у тальниковых заржавелых хворостин,
перья лебедя рассыпала приточная речушка.
Надери с полей
суровых, солнцем стиранных холстин –
выйдет простынь,
и получится подушка.

Заплачу за перевозы все полтины и рубли.
Я приеду – гол как сокол
без полушки и без гроша.
Ты мне теплую постель у Приишимья постели,
рано утром проводи до Прииртышья по пороше.

* * *

На взлетном поле пахло морем –
шел шквал дождя,
турбины выли,
весь мир был наглухо затворен
косой стеной из мокрой пыли.

Над сухопутным взлетным полем
сомкнулись серым сводом струи,
и океанское раздолье
в машины било, озоруя.

Оно в них проливень бросало,
и те,
как рыбины, у камня,
прижавшись к аэровокзалу,
зашевелили плавниками.

И, морды вытянув по-щучьи,
пропарывались сквозь теченье
туда, где каменные тучи
торчали тяжко в темной пене.

И в этом пресном океане,
укрывшись под намокшим кленом,
лишь ты таила на прощанье
у глаз две капельки соленых.

УПЛЫВАЕТ НА ЛЬДИНЕ...

Клочья синего снега на синем откосе...
Как она эту синь на плечах переносит?

Как она эту глыбу весеннего ветра
держит в тихих ладонях, любовью согрета?

И совсем не боится с оплавленной кромки
прыгнуть в мир половодья, тревожный и ломкий!

...Буду радостно-долго смотреть через годы
на снега и на льды, и на вешние воды.

И она в этой резкой и режущей сини
будет плыть сквозь судьбу на крошащейся льдине.

ЭТОТ ДЕНЬ

В березовой бледно-зеленой прозрачности –
прокрики дятла.
Равнодушный голос кукушки вдали.
Звон, бормотанье, трель, посвист всей лесной мелочи.
Грустный, отрешенный перелив иволги.
Таинственное, непонятно откуда летящее, завыванье бекаса.
В овраге, у ручья, где остро и душно пахнет
потревоженная крапива –
мохнатое гуденье шерстяных шмелей.
Вечером
сквозь дурманные облака черемухи –
металлический рык и скрежет лягушек,
до краев наполняющий долину.
Солнце скатилось.
Небо совсем светлое и высокое с ненужной луной
посредине,
и под луной,
над густой зеленью овса –
по-дневному захлебистые и самозабвенные
жаворонки.
Тут же, у края поля, в ольховнике, в приречных кущах
уже зацокали,
зачмокали,
забулькали,
затрещали,
засосали
соловьи.

Вдали, по краю неба, срезанного долиной,
неслышно скользит гигантский лайнер.
Или он слишком далеко, или звуки весны громче грома
турбин?

Сегодня суббота, двадцатое мая,
и все великолепие весны,
все ее песни
не могут заглушить печали быть без тебя.

* * *

Я прилечу в сиреневом апреле,
когда проклевыш первого листа
леса весенним выстрелом прострелит,
и ясен день,
и истина проста.

Весной всегда –
как будто всё сначала,
и за спиной не горбятся года,
и дудка птичья только прозвучала,
чтоб не умолкнуть больше никогда.

И травы первый раз пахнули соком,
в дожде впервые тополь растворен,
и на березах, в мареве высоком –
грачиный голос радостных времен.

И налегке, в апрельский дым одетый,
иду, вдыхая пряный пар и прель,
купить себе зеленые билеты
на самолет, летящий сквозь апрель.

ПРОЩАНЬЕ

«...Ты проснешься уже за Уралом,
в обогретом, обжитом краю.
Я Уральский хребет, как кресало,
тебе с памятью отдаю.

Только чиркнешь кресалом о память –
и затлеют в заречье снега,
и завоет пуржистая замять
в продувных прииртышских логах.

И судьба моя дикою кошкой
подползет к твоей теплой ноге.
Взгляд ее, от испуга сторожкий,
разгляди в непроглядной пурге.

Посади ее тихо под шубу
и постой на моем ветру.
Так мне надо согреться... Я губы,
я глаза от снегов ототру.

Я тебя поманю издалека –
Приходи
и не приходи...
Не замерзну в студеном потоке,
если теплится память в груди.

Только ты не бросай кресало
и судьбу снеговую мою.
Вспоминай обо мне за Уралом,
вспоминай в своем тихом краю».

* * *

Резко пахнут акварелью
листья, сброшенные кленом,
травы, тронутые прелью,
вихри в воздухе студеном.

Соразмерил свет и краски
некий вдумчивый художник –
переливом желто-красным
оттенил леса и пожни.

Переходами сквозными
и прозрачностью осенней
он прорезал чье-то имя
в сердце вянущих растений.

За густой прудовой ряской,
в серых облачных заплатах
с удивленьем и опаской
чей-то образ он запрятал.

Осторожно подойду я
по тропе лесного края,
паутинницу тугую
потихоньку отстраняя.

Из лесов и пожней выну,
отгадаю постепенно –
горьких губ твоих рябину
и волос пахучих сено.



ЛЮДИ И ЛИЦА



* * *

Если б на стене
все профили, все тени,
контуры и росчерки
остались навсегда.
Если бы
их сумрачное тонкое сплетенье
можно было видеть
через дни,
через недели,
сквозь года.

Как проплыли б,
просквозили,
пролетели,
пронеслись по стенам
тени тех,
что прошли через гудящие метели,
не угаснув,
не устав,
не ослабев.

Как пробились
прогудели б,
промелькнули,
как скользнули
по известке напрямик
в неизвестность,
в вечность,
в нежность
и под пули
тени тех,
кто в памяти возник!

* * *

Таинственно и тихо
птицы
влетают в небо –
там их дом.
Клюв тянут, чтоб зари напиться,
и месят облако крылом.

А человек темно и тяжко,
тягучей силой отягчен,
размазав пот, защелкнув пряжки,
ведет машину на бетон.

И в микрофон ворчит, включая
всю мощь машинному зверью,
чтоб в небе, крыльями качая,
как птица,
просто пить зарю.

* * *

Я знаю нескольких
сладчайших,
милейших
и елейнейших людей.
Они стихи творят без всякой фальши,
заводы строят
и растят детей.

Все б хорошо,
но эта сладость,
безоблачность, незамутненность глаз...
Не слишком ли им сахару досталось,
не много ли сиропа влито враз?

Ведь в прошлом-то
все – тертые солдаты,
и на плечах еще живут рубцы,
и рот кривило болью им когда-то,
рука огонь хватала под уздцы!

Зачем же этой самою рукою
чиновную ладонь
умильно жать?
Любезность лить сладчайшею рекою
там, где уместна
разъядрена мать!

Неужто смелость –
отгремевший выстрел,
и даже эхо улеглось с тех пор?

И человек
с приниженностью истовой ступает
на присутственный ковер...

* * *

А человека нет.
Он ходит среди нас,
он говорит,
он морщит лоб,
он курит.
Но нет его.
Он был,
и он погас.
Есть абажур, нет лампы в абажуре.

О, на какой же грани
ускользнет,
уйдет в небытие неповторимость?
Остался облик,
говорящий рот,
но слово
в пустословье растворилось.

И лоб,
как слепок с самого себя.
Он сам себя
с себя лепил стократно.
Повторами живую мысль губя,
вперед нельзя,
а можно лишь обратно.

В знакомость, с незнакомостью порвав...
Былая свежесть обернулась ядом.
Он впитывал отраву из отрав.
И нет его,
хотя он с нами рядом.

ЛИЦА

Подчас дивлюсь,
в броженьи буден
почти уже отжив свое:
какие хари лепит людям
соленое житье-бытье!

Не лица – сложные ландшафты,
где в ямах оспин и морщин
носы – как скалы,
рты – как шахты,
и лишь в глазах мутнеет синь.

В другие втерлось что-то зверье:
торчат клыки из-под губы,
и слиплись волосы, как перья,
и щеки сизые грубы.

Есть что-то от коры дубовой,
от чурбака, сука и пня
в обличьи косных лиц, чье слово
всегда преследует меня.

Случались вместо лиц комоды,
горшки ночные, сундуки...

И я, устав от этой моды,
глаза сжимал клешней руки.

А сам ведь харей не обижен:
немало жести смяла жись –
ведром под кулаком булыжен
башка брунжала – лишь держись!

С лица содрали даже брови.
Трясусь, жестянку-жись кляня.

И все ж
боюсь,
когда по-совьи
те лица
смотрят на меня.

ВЕЩИ



* * *

Где грань,
за которою чашка
становится чашей,
дуга
превращается в радугу,
вилы
в трезубец...
И ковш, словно лебедь,
изогнутый плавным полетом.
И выси небесной повторы
в простом коромысле.
Берёстовый туес –
как теплая тишь предзакатья,
как память о дедовском доме
и меде на робких губах.
И в петлях просторной рубахи
есть ритмы излучин речных.

Входило искусство
в убогую повседневность,
склонялося к люльке и гробу,
гнездилось
в домах и часовнях, во храмах и кабаках...

Так в чем тайна этой тоски
по изгибу лебяжьих ковшей,
по берёстовой утвари
в век электронных чудес?

* * *

Извлечение звуков
из струн
и из древа –
из бараньих кишок
и еловых досок,
да из конских волос,
когда вправо и влево
утомленным челном
проплывает смычок.

Все так просто.
Все сделано просто руками.
И на лбу музыканта –
размазанный пот...

Почему же
Душа
говорить начинает стихами?
Почему ее проза простая
к себе не влечет?

* * *

Боюсь владельцев дач,
страшит меня их милость.
Из многих неудач
удача их сложилась.

Калитка – словно лаз,
участок мал и узок.
Прищурен хваткий глаз,
и губы – вроде гузок.

Проходишь мимо ты
и чувствуешь всей кожей
дыханье немоты,
которая их гложет.

Над ведрами песка,
над кучей перегноя
убогая тоска
лишила их покоя.

Осевшее бревно,
подгнившие стропила...
Их помыслы давно
забота затопила...

Когда из неудач
решишь создать удачу,
пройдись вдоль старых дач,
подыскивая дачу.

ЖЕСТЯНАЯ МЕЧТА

Мечта мельчает – мельче проса.
Мечтают напролет всю жизнь:
купить жестянку на колесах
и в ней по городу кружить!

Выпендриваться, лезть из кожи,
влезая под лазурный лак,
и на задумчивых прохожих
смотреть, как на босых бродяг.

Найдется ли бледней причуда:
с улыбкой холить эту жесть
или терзаться, что полуда
от брызг и пыли может слезть.

Священнодействовать в моторе,
лежать в мазуте и земле,
и горевать безмерным горем
при виде трещин на крыле...

Быть именинником счастливым,
когда вдыхая гарь и газ,
рулишь по уличным извивам,
своей машиною гордясь.

И радоваться днем и ночью,
как выхолена и чиста
в своем жестяном худосочье
осуществленная
мечта.

СРЕДИ ВЕЩЕЙ

Здесь живут люди, любящие вещи.
На всем, что их окружает,
незримо, но броско написано:
«ВЕЩИ – СМЫСЛ БЫТИЯ».

Вот их дом.
Фасад отделан дубом, как величественный гардероб –
панель к панели, аккуратно, добротно
от нижнего до двенадцатого этажа.
Окна зеркального стекла непроницаемы для взгляда.
Подъезд,
словно полированный шкаф.
Ручка двери сияет начищенной литой латунью –
к ней боязно прикоснуться (не остался бы след от руки...).
Лестница
настоящего тесаного камня.
Дверь в квартиру –
шедевр краснодеревщика:
взглянешь и, не открывая, видишь, какие за ней
просторные,
удобные квадратные комнаты, какие дорогие вещи.

А вот и человек.
Светло-серый летний костюм –
только что от портного.
Человек садится в светло-серую новенькую машину.
Хлопает дверца.
Человек сливается с автомобилем.
Сквозь стерильную прозрачность ветрового стекла
видно лицо –
абсолютно спокойное,
абсолютно правильное –
с уверенными узкими губами,
светло-серыми (под цвет костюма и машины) глазами.

Мягко включается мотор.
Машина старательно объезжает меня...

И на миг
я встречаюсь взглядом с ее фарами,
а затем с глазами ее владельца.
В зеркале рефлекторов и в его глазах
я вижу отделанный дубом дом, подъезд, дверь, квартиру –

все, что любит этот человек, все, что есть у него.

Он объезжает меня,
как объезжают столб или дерево.

* * *

Есть у вещей дремучая душа,
есть злой характер
и слепая сила.
Вещь входит в дом – и тяжело дышать,
и кров родной становится постылым.

Случалось, что ковры и хрустали
детей от матери со злобой отрывали,
и побрякушки страшные вели
к злодейству,
в тюрьмы,
в каторжные дали.

Но все же
их ни в чем нельзя винить.
Мы на любом суде их не осудим,
хоть в глубине у них
таится нить,
ведущая в сердца и в души к людям.



ОБИТАЛИЩА



* * *

Городишко
просяно-овсяный
хлебным духом по крышу пропах
и блестит
белизной берестяной,
и плывет на сырых облаках.

Шепчет,
вытянув сохлые руки
постаревших своих тополей,
и трепещет в глубокой излуке,
словно теплое сердце полей.

Диким гусям его не любить ли,
журавлям ли его не стеречь –
к камышам заболотным приникли
его крыши, где тенькает течь.

Просыпая овес на булыжник,
голубям отсевая пшено,
городок,
не радея о ближних,
отдает им, что полем дано.

В берестяно-овсяной округе,
в нескудеюще скудных песках
он плывет
старым дедовским стругом
на прошитых дождем облаках.

ЖИЛЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Жилье человека – это тридцать шестов,
это шкуры оленьи, прошитые жилой,
и костер,
и котел...
и, как толща веков,
тьма и тишь дальний чум окружила.

О, уют для забвенья дорожных невзгод!
Угли. Нить тальникового дыма,
и на нити – узлами –
час и день,
день и год
до зари ледяной протянулись незримо.

Время стало.
Очнуться,
кремнёвый топор
беспокойной рукой в полудреме нащупать.
Что там?
Бубен шамана
иль эхо от гор?
Иль взыграла под осень пудовая щука?

Костяные крючки сухожильем связать,
и на тундровом озере кинуть приманку?
Головешкой горящей
по волчьим глазам
садануть,
суеверно вскочив спозаранку?

Иль следить сквозь дыру, где сомкнулись шесты,
ход светил,
сотворенных рукой человечьей?

Иль приемник включить
и послушать с шести
танцевальные ритмы,
реченья
и речи?

Время стало.
Смешало
на нити из дыма узлы.
Где кремнёвый топор?
Где транзисторный кремний?..

Здесь жилье человека.

А дороги так злы,
в их когтистые лапы опять на заре мне...

* * *

Лавчонка «Семена»,
как ящик с семенами –
чуть слышен пряный запах всех семян.
В иные времена
я временами
за семечком мог разглядеть роман.

Брал зернышки,
как будущие судьбы,
держал в ладонях
всё
и ничего.
И как судьба свой не вершила суд бы,
я верил справедливости его.

Вот я опять в лавчонке с семенами...
Темно и пыльно.
Притолоки низки.
И продавец молчит,
как будто между нами
легли века,
сменились языки.

Повсюду семена –
от пола и до крыши.
Смотрю, приникнув к ним и не дыша,
и все ж не вижу ничего, не слышу...
То ль семена молчат,
то ли глуха душа?

* * *

Был дом, как ёлочный фонарь,
светился золотом сусальным.
И тек расплавленный янтарь
из окон в снег,
из снега в тайну.

А тайна затаилась в том,
что этот ёлочный светильник
своим надтреснутым окном
сто лет светил в житейской стыни.

Ломались дни и времена,
раскалывались государства.
А дом
и свет,
и тишина
дарили людям вечный дар свой.

И крыша в позолоте мха,
и стены в вязи древоточцев
скорлупкой плыли сквозь века,
сквозь бури праха и пророчеств.

И те, кто бури затевал,
чьи руки вал судеб вращали,
пройдя через девятый вал,
к скорлупке дома возвращались.

Металась жизнь и вниз, и вверх,
но все круженья и стремленья
не доставали до застрех,
до печки, где цвели поленья.

Не чудо ль это!
Дом повис
на тонких нитях снегопада.
Разбилось время о карниз,
и перья кружатся по саду.

СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНЬЕ

Все лыком шито,
наспех сбито,
все без колодки – скандачка.
Тут рак клешней,
а конь копытом
шаляй-валяй поселок строил,
бараки бил нашермачка!

По жухлым крышам дождик косит.
Углы, заборы – так и сяк.
И наискось по перекосам,
да против шерсти, против ворсу
раскосый ветер
хлещет косо
и ставит все вперекосяк.

И кувырком летят от ветра
клубки из дыма и судеб.
Нет ни привета ни ответа...
За реками, за тундрой
где-то,
в порту,
где буря кренит краны,
твоя судьба и ветер
спьяну
по крышам скачут в чехарде.

РЕСТОРАН

По-византийски изукрашен
ресторан:
всё в позолоте,
в зеркалах,
в дымке белесом.
И,
словно чудо полунощных стран –
буфетчица,
пудов на десять весом.

Куражатся прыщавые юнцы.
Откуда в них купецкое призванье?
Купцов не помнят даже их отцы,
а вот юнцов
куражит в ресторане.

Пьют просто,
без прикрас и слов
приезжие, проезжие, шоферы.
На позолоту глядя,
жмутся у столов,
неловко тычут вилками
и возят ложкой споро.
С мороза,
мимоходом,
в суете.
Промерзли: на ветру от самой рани...

И в этой византийской лепоте
одна буфетчица на месте
в ресторане.

* * *

У каждого музея краеведенья
свой волк,
свой филин,
свой седой медведь.
Из ниш
на посетителей наведена
узорчатая пушечная медь.

Кость бронтозавра,
а над ней – баталия
и диаграмма:
так возрос удой.
И вдруг
княгиня
с невозможной талией
осой висит под картой областной.

История...
Из всех ее извилин,
что было – никуда не уберешь.
И тихо смотрит
осовевший филин
на засухоустойчивую рожь.

ЧУЖОЙ МИР

Балаган.
Узнаю его –
весь он, как был.
На базаре, на ярмарке –
на ветру парусиной трещит.
Зазывалы и клоуны глотки дерут, выбиваясь из сил.
И не хочешь – войдешь,
не приемлешь – возьмешь:
уведет, увлечет, улещит.

Пусть нейлон на плечах,
синий лак на ногтях,
сигарета в зубах...
Пусть гудят электроны,
и светится мутный экран.
Лишь взойдут на подмостки,
да ухнет под ухо труба –
узнаю балаган!

Проходные дворы этих студий пустых,
сквозняки коридоров,
бутафорский картонный уют.
И вчерашних программ позабытые всеми листы,
безнадежная жалость
в эфир улетевших минут.

Эти лица изжеваны взглядами до синевы,
эти плечи зашамканы ртами до самых костей.
Рот разодран улыбкой –
он слаще халвы,
и он горше, чем желчь,
и он уксуса злого кислей.

Балаган.
На границе искусства,
за гранью экрана, он там,
где бездушная башня
по небу чертит электронным перстом.
Где душа человека не верит своим же словам,
где глаза человека не верят ушам
и где сердце не верит глазам и ушам,
где лишь ветер
в сырой парусине
и в мире пустом.

* * *

Мир закоулков привокзальных
залузган мусором дорог,
замызган верстами, засален,
исхлестан вдоль и поперек.

Вокзал,
дрожа, как алкоголик,
в сыром карболочном пару,
мытарств и странствий хмурый облик
рисует
дымом на ветру.

* * *

Поедем в город грибников,
насквозь прокрашенный рябиной.
Там даже дети, как грибы,
уютно спят в больших корзинах.

И чтобы слаще им спалось,
кладут в корзину мох и листья,
и выставляют на балкон,
и накрывают синей высью.

А после, улучив часок,
уходят в бор с домами рядом,
по-детски радуясь взахлеб
лесным нарядам и наградам.

* * *

Платформа. Ночь.
У жухлых фонарей
метель продергивает лохмы снега косо.
Ждут поезда,
и всем, кто ждет – теплей
и легче в зябкой западне заносов.

А поезда не будет.
Он увяз в трясине снежной завали и пыли.
Но люди ждут
и в безнадежный час
надежду пьют из призрачной бутыли.

ГДЕ-ТО...

Я этот поселок с трудом узнаю...
Он где-то на Севере... Где-то,
где краски просеяны сквозь кисею
полночного сонного света.

И рыжие бревна плывут по реке,
и черные баржи – на ртути,
и серые избы на сером песке
в сереющей тундровой мути.

Там красный платок над обрывом...
Глаза...
Ладонь над их вырезом узким.
В них кто-то, кто должен вернуться назад,
тускнеет за маревом тусклым.

...А лодка промазана медной смолой.
И капля костра.
И белила
березовых дров...

Эта лодка
за мной
когда-то
сквозь ночь приходила...



КАЗЕННЫЕ МОТИВЫ





* * *

В бессмысленной, настырной толчее,
где все рассчитано
и все – напропалую,
намалевав серьезность на челе,
чиновники
толкутся и толкуют.

Я бестолков к толковым их речам,
ведь бестолочь толочь – какая новость!
Перетолковывать толковым толмачам
передаю чиновничью толковость.

И ухожу,
чтоб без толку стучать
корявой палкой в светлые рассветы,
чтоб ждать, как солнце встанет на лучах,
как из бутонов
вылупится лето.

ТРЕЗВЕННОСТЬ

Ужасна трезвенность тупого бытия.
По-канцелярски дни подшиты в «Дело».
Дела... дела...
А где же в деле Я?
Где жизнь м е н я за делом проглядела?
Часы – канцеляристский механизм –
размеренно и трезво мерят время:
от сих до сих...
А чем же мерить жизнь?
Кто мерку спрятал в мертвой теореме?
Кто трезвенностью залил до ушей
даже пьянчужку, вспухшего от пьянства,
и постным сахаром
тарелку кислых щей
подслащивает с редким постоянством?
Какой неслышный медленный паук
нас оплетает трезвенностью чинной?
И даже зов любимых глаз и рук
смиряет канцелярской мертвечиной?
И почему же, от каких щедрот,
без понужденья,
по оглядке,
сами
для песни робко приоткрытый рот
сжимаем вдруг стальными челюстями?

Но трезвость наших глаз и наших уст
таит предчувствие под маскою унылой:
созреет в сердце ягода безумств –
и все взлетит от животворной силы!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Открываю окно
и впускаю
первый снег.
Он ложится на стол, на бумаги.
На зеленом сукне канцелярском
ранний снег, как на мерзлой траве.
Я смотрю – он съедает чернила,
он печати сусолит –
От «входящих» и «исходящих» номеров
остаются набухшие кляксы...
Все погибло, теперь ничего не понять!
Лишь одно мне понятно:
сейчас первый снег.
Я впускаю его, разбросавши замазку, проклейку
и вату – все, что сделано для утепления рамы.
Первый снег,
снег сырой и стремительный,
входит он в надоевшую комнату эту,
где плоская плесень оплела потолок,
чтоб напомнить мне: осень в разгаре!
Чтоб напомнить: мир снега огромен,
и работа его велика –
все засыпать: квадраты полей непомерных
и вот это убогое поле стола.
Я впускаю его –
пусть побудет,
пусть расскажет он мне о просторе
и о ветре, и о непогоде,
и о сумерках долгих осенних,
за которыми
стынет зима.

* * *

Учитесь у осенних мух
солидному жужжанию.
Жужжание поднимет дух
и привлечет внимание.

Наполните жужжанием
контору и собрание.
Жужжанье как призвание
вам принесет признание.

Вы людям прожужжите слух,
жужжа в любое ухо,
что вы жужжите лучше мух,
а, значит, вы не муха!

ИНОГДА

Иногда
среди житейщины, растянувшейся на месяцы,
задерганный и замордованный всепоедающими мелочами,
бежишь куда-то по какому-то нуднейшему поводу,
и тут
будто некий чудодей вставляет тебе новые глаза,
и ты словно впервые
видишь
эти странные каменные и стеклянные плоскости,
поднятые к яркому небу;
блестящие, непонятно как передвигающиеся
по накатанным поверхностям штуки;
удивительных существ, идущих навстречу,
плавно и точно несущих свои замечательные тела и головы,
и глаза, в которых угадывается
неведомый мир;
видишь ослепительный шар, висящий в синеве,
чувствуешь тепло, исходящее от него,
свет, отраженный в мириадах зеленых чешуек,
унизавших кривые и корявые стебли
каких-то странных растений.

Ты не знаешь,
как все это называется,
ты увидел этот мир в первый раз,
увидел новыми глазами,
увидел без слов
и удивился ему.
И захотелось проникнуть в него, пожить в нем,
научиться его словам,
понять его немыслимую гармонию...

Но чудодей отбирает у тебя ведовские глаза.

И ты вспоминаешь о нудном поводе,
по которому надо куда-то спешить
под едким забензиненным солнцем
мимо этих примелькавшихся домов,
автомобилей, прохожих и пыльных деревьев.

* * *

Помпезный праздник словоблудия,
пир пустозвонства выспренне-тупого.
Не языки,
не глотки,
а орудия
для колыханья воздуха
и надуванья слова.

В коросте косности
затерты намертво,
истрепаны средь прений золотушных,
словечки стертые
пудовой гирей
давят на
все мозги
и клеем льются в уши.

Как пузыри,
безлики, хлипки, немощны
фальцетом фаршированные фразы
меж заседательских
всеядных,
всяких
всенощных,
достойных гимнов
на урчащем унитазе!

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО

В пустоту старости и безразличия
падаешь,
когда обращаются к тебе – не к человеку, а к
«должностному лицу».
Обращаются, обычно, путая имя, отчество,
глядя на тебя, но ни одной твоей черточки не увидев,
голоса не расслушав.
И в этот миг ты ощущаешь себя
«должностным лицом»,
ты понимаешь: у тебя нет лица, нет имени, нет голоса,
нет глаз,
ибо «должностное лицо» безлико,
от него не требуется лица,
от него ждут подписи под бумагой,
либо разрешения на чью-то подпись,
либо звонка по телефону,
либо справки...

Да и зачем тут лицо?
Все делает должность, которую занимаешь, место,
на котором сидишь.
Исполнять дело здесь мог бы и другой человек, и третий,
и пятый, и десятый...
И к ним точно так же приходили бы посетители
и знакомым тебе жестом протягивали бумагу с графой
«подпись» или излагали бы просьбу, глядя пустым
взором в пустоту.
Все это мог бы делать
электронный автомат,
и никто не заметил бы, что тебя заменили автоматом –
поднимали бы трубку и,
неразборчиво пробурчав нечто вроде приветствия,
излагали бы свою просьбу,
и тут же получали бы (или не получали) подпись.

Как страшна эта пустота!
Как ужасно ощущать себя
безликим, безымянным «должностным лицом»,
занимающим место,
на котором кто-то был до тебя и кто-то будет
после тебя,
и сам ты
не более чем «кто-то», имярек, оставляющий
росчерк под бумагой...
Как тоскует сердце
от безнадежного ожидания,
что вдруг войдет человек
и спросит тебя о тебе,
просто о тебе,
низачем,
спросит от души
тебя о тебе,
спросит для себя, а не для того,
чтобы ускорить получение подписи.

* * *

Казенный небосвод казенных звезд
для различенья человеков создан.
Тому – одна звезда,
другому – горсть и гроздь –
чтоб отличались не по лицам, а по звездам.

В казенном небосводе есть луна,
чтоб из нее
казенные портные
нарезали резного галуна
и оттенили звезды накладные.

Казенный небосвод
и стар,
и нов.
С варягов начался он,
то ли с греков...

И люди потерялись меж чинов.
И звезды заслонили человека.

ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ

В душные дни
солнце останавливается напротив моего окна
и не хочет уходить.
Оно жжет часами, не двигаясь.
Бумаги скручиваются и желтеют,
руки обугливаются,
чернила выкипают,
выцветают печати,
голова морщится наподобие сушеной груши.

А солнце все не хочет уходить.

Нравится ему смотреть в канцелярскую комнату?
Хочет оно выучиться делопроизводству?
Желает разобраться
в ведомостях, инвентаризационных актах, заключениях,
справках, рецензиях, запросах, инструкциях, указаниях,
распоряжениях, приказах, уведомлениях
и других «входящих» и «исходящих»?

Не поэтому ли солнце стоит на месте?

Но,
может быть,
другое...
(Какая мысль... Почти кощунство...
Или это бред от чрезмерной жары...)
Может быть,
оно хочет...
(Трудно произнести даже про себя!
Нет, нет...
Чур меня, чур...)
Может быть, оно хочет

сжечь бумаги, испепелить канцелярию,
высушить меня окончательно
и выдуть вместе с пылью
вон,
чтоб остался
только мир полный солнца?

ИЗВЕСТНОСТЬ



ИЗВЕСТНОСТЬ

На виду у ста миллионов,
привычно глядя в глаз телекамеры,
демонстрировать свою скромность.
Сказать в микрофон
с простотой и сердечностью
несколько тщательно выученных фраз.
Очаровать зрителей улыбкой,
отрепетированной перед зеркалом.
Истово облобызаться со знаменитостью
(если представится случай)
и тем показать,
что ты – не меньшая знаменитость.

Экстравагантно или подчеркнуто просто одетым
пройтись по улице,
устремив глаза ни в кого,
но зная, что на тебя направлены взоры всех.

Появившись в кругу незнакомых знакомцев,
показать, что ты примерный муж или любящая жена.

Заранее зная, что все заметят,
погладить ребенка,
поклониться в ответ на поклон швейцара,
подарить стюардессе преподнесенные тебе цветы.

Покровительственно целовать в голову
тех, кто менее известен, чем ты,
но может быть тебе полезен.
Шумно напоказ лобызать при встрече себе равных.
Разговаривать со знакомыми так,
чтоб вокруг сразу вырастала кучка любопытных.

Всё это надо делать легко и непринужденно.

И еще.

Для утверждения своей оригинальности
нужно овладеть чем-то э т а к и м.
Научиться блестяще играть на бильярде
или надеть расклешенные брюки,
когда все еще носят мини-юбку,
курить гаванские сигары
или приобрести экзотический перстень...

Таков краткий перечень
того, что надо уметь
и что умеет делать
всякий мало-мальски известный человек.

* * *

...И человек становится великим.
Лицо его
изображают –
ликом.

Все радости его и все печали
историки заносят на скрижали.

И только где-то
на обрыве сердца
былинкой встала песенка из детства.

И только как-то,
удержавшись зыбко,
еще живет далекая улыбка.

Пускай их называют мелочами,
а в них – смысл радости,
а в них – зерно печали...

* * *

Славьте мертвых!
Заслуги их превозносите,
восхваляйте их скромность, их веру и взгляд.
Что сегодня не годно –
отсейте в своем историческом сите,
что годится –
из бездны забвенья верните назад.

Выбирайте цитаты, желаньям живых угождая,
афоризмы ищите, что годны на все времена.
Есть в творениях мертвых
струя бесконечно живая,
есть в оркестре усопших
звучащая вечно струна.

В их садах тяжелеют плоды,
в их стадах бродят тучные агнцы,
в книгах собраны соки извечных наук,
под знамена их снова и снова идут новобранцы,
драгоценным вином переполнен их старый бурдюк.

Отрастает у них
всем доступное дойное вымя.
«Нет» не скажут они,
значит, есть только «да».
Есть у мертвых одно преимущество перед живыми:
и к хуле,
и к хвале
равнодушны они навсегда.

* * *

Убеждали творца-современника люди:
«Подожди,
вот придут времена,
тебя примем, полюбим,
наградим и уважим,
и памятник даже поставим,
о заслугах расскажем,
издадим твои книги,
картины раскупим,
портреты развесим.
Признанье и слава грядут –
подожди,
торопиться не надо,
подожди лишь до собственной смерти!»

* * *

Сжечь рукопись!
Не дать профессорам
над гением глумиться после смерти!

Измерьте непотребство их и срам,
Бесстыдство их ученое измерьте!

Возьмите жухлый перечень трудов,
послушайте, как зазвучит бесчестно
слюнявое сюсюканье их ртов
там,
где одно молчание
уместно.

Счета, записки, мелочь соберут,
клозетные листки занумеруют,
чтоб нацепить за канцелярский труд
звенящих званий выспреннюю сбрую.

Свои способности и свой убогий лоб
так изукрасят славою чужою,
как будто гении, хвалимые взахлеб,
лишь из-за них теперь чего-то стоят...

И разделив классический пирог
пером из лучшей золоченой стали,
не Пушкин, не Есенин и не Блок –
профессор Имярек стоит на пьедестале!

О ВЕЛИКИХ

Великие,
помимо дел велики
еще и тем,
что возле их фигур
столетьями прокорм находят
клики
ученых, неучей и выученных дур.

Великий умер где-то на мансарде
один,
лишь крысы шаркали в углу...

Пусть знатоки
в захлебистом азарте
заспорят, сев к огрузшему столу:

Где покупал он перья и чернила?
Был он левшою? Иль правшою был?
А ведь, возможно, все иначе было –
писал он кровью, не купив чернил.

Как был одет он?
Разыскать так сложно
его камзол, заношенный до дыр...
Или иная версия возможна –
в безденежье он все спустил в трактир.

Что прохрипел великий, умирая?
Послал всех к черту иль призвал богов?
Или возможна версия другая –
не жравшему неделю – не до слов.

Приятно спорить, сидя в кабинете.

А что ни спор, то веский гонорар.
Великий!
Да найдется ли на свете
другой такой же ходовой товар!

...Исследованья, книги и трактаты.
Сонм бакалавров, профессуры сонм.

Кто б подсчитал доходы и затраты
и дал Великому при жизни на прокорм!

* * *

Талантливые неудачники,
искуснейшие неумехи.
О сколько же в глубинах времени
вас, преждевременно забытых!

Способные не приспособлены
тащить на торг свою способность.
Способные не знают способа
способствовать своей удаче.

Из всех земных чудес и радостей
доступна им одна искусность.
С годами делаясь искуснее,
судьбу они не искусили.

И часто в убежденье сумрачном,
что труд их никому не нужен,
они провидели грядущее
и жили в нем, того не зная.

И в совершеннейшем отчаянье
они вершили совершенство
и завершали путь неведомый
вершок к вершку, наверх к вершинам.

И только позже доживал до них
мир, признающий лишь удачи,
и рвал плоды с их веток трепетных,
к нему проросших через время.



ПАМЯТНИКИ



* * *

Все памятники
в снегопад
нелепы.
Великий снег их делает смешными.
Такого им в таких местах налепит,
что хоть стирай из-за конфуза имя!

В платок по-бабьи наряжен
писатель.
Философ нацепил песца на фрак.
Актер стал длиннонос, как дятел,
поэт
клешняст и мелкоглаз, как рак.

А снег все лепит,
с грубою издевкой,
глумясь над тем, кем всякий восхищен.
Прохожие смеются.
Им неловко,
но что поделать, коль кумир смешон!

И все из-за чрезмерности бескрайней,
из-за того, что снег
без всяких мер
набросан
и навален здесь случайно:
без стиля,
без искусства,
без манер...

Но сам-то снег,
он падает без меры,
не становясь от этого смешным...
Быть может, надо с ним кумиров сверить
и только после поклоняться им...

* * *

Громоздились гробницы –
гонор гордых гробов,
чтобы люди
по смерти царей
перед памятью падали ниц.
Но всегда меж простершихся в прахе рабов
со змеиной улыбкой
таился грабитель гробниц.

Вот задвинуты входы гранитной скалой,
утрамбованы прочно курганы тяжелой земли...
И тогда
он в ночи приходил, деловитый и злой.
Преклоненье и страх с ним на дело не шли.

Хитроумный и резкий, не ставивший вечность ни в грош,
потрошил фараонские мумии,
скифских вождей потрошил
и при свете луны совершал свой грабеж и дележ,
и в веках исчезал, все богатства пустив на распыл.

Неизвестный,
неведомый,
некто,
ничтожней песчаной пыльцы,
он исчез,
но ведь после него
(как жестоко с живыми и мертвыми он поступил!)
поклонялись пустым пирамидам рабы и жрецы,
и кочевники чтили пустые курганы в степи.

ПАМЯТНИК ПОЭТУ

За белым камнем –
выгиб речки, поле
и всходы худосочного овса,
и лес в весенней северной юдоли
зелеными огнями занялся.

И в вечных красках
вечных смен природы,
и в птичьих песнопеньях в вышине –
свист поезда,
ни с чем другим не сходный,
стальным хлыстом хлестнувший по весне...

А ниже, ниже
на шоссе –
машины.
Кичливый лак
и никелевый блеск,
и чьи-то лица в суете мушиной,
и славы чьей-то
выспренний бурлеск.

Но здесь,
на взгорье
только белый камень.
Ни славы, ни бесславья.
Он, как жизнь.
Он есть.
Чтоб вместо волн –
веками
плескалось Время
у его крутизн.

МАСТЕРА НАДГРОБИЙ

Здесь для вечности готовят пищу –
полируют каменные глыбы,
чтобы люди,
посетив кладбище,
о бессмертье размышлять могли бы.

Тусклую кладбищенскую славу
всем, лишенным славы и таланта,
мастера надгробного устава
раздают согласно прейскуранта.

Здесь даруют на столетья
память
тем, кого забыть достойно тут же,
тщатся память памятью захламить
в память тех, по ком никто не тужит.

«В месте сем почил купец Квашонкин».
«С миром спи. Приват-доцент Чечуев».
Мастера затейливо и тонко
выводили, мзду карманом чуя.

Лили пот,
ворочали каменья,
надрывали жилы и железо,
чтоб
ничтожность
избежала тленья
и к потомкам в будущее влезла.

Заливали золотом и медью,
вдалбливали каменным тараном
времени грядущему в наследье –
имена, проживших безымянно.

Труд тяжел,
и камни не истлеют...

И сияют с грузных постаментов
купленною славою своею
имена торговцев и доцентов.

* * *

Он там сидит –
меж голубей,
среди колясок детских
и пенсионеров.
Согбен, нахохлен,
весь в своей судьбе.
Нет пенсий,
нет детей,
нет мира и нет меры.

Весна, зима ли –
все ему одно.
Снег на плече
иль пыль от лип – едино.
Он дна достиг,
сломал судьбу о дно,
и сам остался в сумрачных глубинах.

Туда теперь едва ли заглянуть.
Пласты времен над головой сомкнулись.
И новые пути
его давнишний путь
крутыми колеями отчеркнули.

Он в вечной славе,
в праздничной чести.
Привычно все –
от слов его до позы.
Но как ему теперь
себя спасти
от славы, почитания и бронзы?

ТРЕВОГИ ТРУДОВ



* * *

Подмастерьем бы стать у Байкала –
поучиться его мастерству:
синих красок набрать,
фиолетовых слюд
и туманных опалов
и пронзительным солнцем
пришпилить к холсту!

Натореть
в стеклодувной тяжелой и точной работе,
чтоб на дне
отлитых из зеленой прозрачности чаш
колыхались
лучей переливчатых
желтые соты,
отражался игольчатый контур
пронизанных осенью чащ.

Стать чеканщиком,
хватким, скупым златоковцем,
ремешком повязать под кружок седину,
молоточком алмазным
разбить уходящее солнце,
и осколки
прибить по чешуйке
на каждую каплю в тугую волну.

Кожемякой –
таежные шкуры,
лесные овчины
разминать,
растирать,
раздирать,

распинать,
чтобы скалы ревели по-бычьи,
чтоб в горле стремнины
застревал шквальный ветер,
вонзившийся по рукоять!

ТЕТКИН САД

Доверчиво домашние деревья
столпились перед теткиным двором.
Деревьям
деревянная деревня
всю жизнь дает,
а мы
всю жизнь берем.

Но яблоки и вишенье, и дули –
не выдача отдачи от удач.
Деревья к дому радостно прильнули,
платя сверх мер и не желая сдач.

Они, как тетка, в щедрости упорны,
и в них – она,
их сад в одно связал –
не разобрать, где руки, а где корни,
где ягоды, а где ее глаза.

МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

Мокрым лаптем шибануло море Лаптевых –
по скуле задело, то ли по губе...
Причитанья на потом оставьте вы –
вон как ветер с океана задубел!

Перво-наперво
все убирайтесь с палубы –
слижет разом, что корова языком:
бочек нет и шлюпки нет,
а вместо поручней –
хоть в утиль сдавай –
железный лом.

Эх, и моет же,
и треплет же,
и хлещет же,
и стреляет в лоб соленая картечь!
Это чудо, если смирно вещь лежит,
это диво, если трюм не тронет течь!

Заклубилось,
задымилось,
заволочилось,
завилося повиликой снеговой,
крупным прошивом все небо перестрочено
и овчинкою
висит над головой!

О, пройти б на нашем лапте море Лаптевых!
Что, погодка, видно, вам не по нутру?..
Вот вам снежные заряды – вы облапьте их,
Подержитесь-ка за ветер на ветру!

ЗЕМЛЯ

Земля, пропитанная гарью и углем,
пронизанная щебнем и железом...
Ее мы любим –
мы на ней живем,
и след наш навсегда в земное тело врезан.

Все камни и песок, и шлак
прошли сквозь наши пальцы, как сквозь сито,
и горсть земли, зажатая в кулак,
сплавляется в бесценный слиток.

Мы прячем в землю реки и ручьи,
мы тянем кабель по бетонным трубам.
Прислушайся: она звучит
и нежным шепотом,
и взрывом грубым.

Под ней, как электрический разряд,
как сгустки скорости и света,
с протяжным воем поезда летят.
И там родится новый лад
для песни, что еще не спета.

Земли не убивает наша сталь –
на тихих улицах, у водостоков ржавых,
распарывая стебельком асфальт,
родятся травы.

Прокладывая линии траншей,
бетоном заливая площадь,
мы оставляем место для корней –
пусть лето
листья
ливнями полощет!

Земля, как тело, – вся в извивах жил,
она живет и дышит вместе с нами,
ведь душу человек в нее вложил,
когда закладывал в фундамент
первый камень.

* * *

Дырявый накомарник.
Борода.
Винтовка.
Ичиги.
Зимовье.
Сырые камни.
Звонкая вода.
Заря по зыби – кровь по крови.

Звон комаров.
Глубокой дали зов.
Путь от жилья.
Дорога в необжитость.
Гольцы.
Кедровый стланик.
Темь лесов.

Что темнотой от светлых глаз сокрыто?

КАФЕ В ТУНДРЕ

Когда солнце уходит в тундру
и синё дымят терриконы,
в засугробленном кафе
истошною «полундрой»
джаз
гогочет и визжит с магнитофона.

Хорошо в тепле
обжечься каменным мороженым,
винный иней лить в ледвяные бокалы.
Приручённый снег
и Север
в пальцы вложены.
А пурга сегодня утром перестала.

Там
в подземных водах
шахты плавают,
в уголь,
будто в лед,
врубаются шахтеры –
вечность мерзлоты
пропарывают лавою...
Но до нашей смены-то нескоро!

Натопили, как в теплушке,
только из двери
тонкой змейкой по ногам вползает холод.
Не придешь ты,
не посмотришь даже издали,
не приедешь в мой морозный город.

* * *

Душистый воск еще незрелой мысли,
характер ломкий, как весенний лед.
Судьба чуть начата –
не ясно:
вниз ли,
ввысь ли
ее ветрами занесет.

Ведь каждый ученик – наивная загадка,
вселенная на тоненьких ногах,
где зыбок свет,
законы шатки
и без орбит планеты в небесах.

Весь инструмент учителя –
терпенье
и время, сотканное из минут в года.
Дробятся камни,
рвутся цепи звенья,
но это напряженное терпенье
ему не изменяет никогда!

Вот он в саду.
Столпившись, смотрят дети,
как держат нож,
как режут черенки.
Нескоро под плодами дрогнут ветви,
но зреет плод в тепле его руки.

Он сотни раз выводит букву, слово...
И медленно,
и с каждым днем верней
рождаются из пламени живого
сердца и облик будущих людей.

* * *

Кто дает названия буксирам?
Что за сказочник
по рекам,
рядом с нами
селит самых добрых чудищ мира
с трогательнейшими именами?
В Иртыше –
мазутный серый «Лебедь»,
на Оке –
белей ромашек «Муравей»,
в Волге «Крокодил»,
а «петушки»-то, где ведь –
с Ангары плоты таскают в Енисей!

Эх, я с этим малым познакомился!
И веснушчат,
и задумчив он,
и рыж, как пиво.
Он с белилами и суриками возится,
сочинитель он,
но самый умный и счастливый.

Из-под кисти выплывают
все названия
всех натуженно-натруженных буксиров.
Однословные
веселые сказания
сквозняком сквозят сквозь даль речного мира.
Неприметностью завидною отмеченный,
он печется не о славе, а о слове,
о судьбе его завидной и изменчивой,
чуждой суесловных славословий.

* * *

Погасли горы.
Нам пора.
Проверь-ка упряжь!
– Кщ-щ-щ!
Вались на нарты!
Олени взмыли к пепельным горам
и напрямик – без компаса и карты!

По-зверьи, нюхом,
лишь свистит в рогах.
По-птичьи, летом –
подняло и взвило!
Всё вперемес:
мы друга от врага –
от трав трясину отличить не в силах.

О, безрассудство гонки без дорог!
Проныр по рекам,
вымах сквозь болота,
на камни вхряст
и хлюпом через мох –
и в створ зари,
как в алые ворота!

И встреча с солнцем.
Тундра – как луна
в холодном свете росного убора,
и клочьями сырого волокна
дымятся, точно кратеры, озера.
И резкий взмах Уральского хребта
бросает нас до кромки океана,
куда не доберется темнота –
в пресветлые полунощные страны.

ПЕЧАТНИКИ

Строк серебро
и пальцы в черной краске.
Бумага,
оттиск,
след тяжелых рук.
Мысль на листах густеет медом вязким,
мысль искрится в ажурных сотах букв.

Теперь она,
рожденная когда-то,
записанная где-то кем-то там...
Как молния
свой росчерк угловатый
размечет по пяти материкам.

Печатники вторую жизнь ей дали,
повторенную много тысяч раз.
Машины грелись,
здания дрожали,
когда она вторично родилась.

Печатники.
Труд ночью желтоглазой.
Свет утра застит взор, как серый пух.
Металлом и огнем
клокочут фразы,
неслышные слова тревожат слух.

В них есть от сердца нашего частица,
поэтому они звучат сильней.
Наш труд ночной
в трепещущих страницах,
как в нежности цветка
сок почвы и корней.

Ворота в мир открыты.
Мысль уходит
навстречу временам и племенам.
Цветок живет –
и соки в стебле бродят,
и зреют семена.

* * *

Это помесь бурят и поморов,
это замесь
ветров Беломорья с байкальской волной,
это сплав
крепкой кости и зоркого взгляда,
и торопкой походки на круче,
не тронутой горной тропой.

Как он держит штурвал,
как сторожко и будто небрежно
невдали берегов тянет плот крутобедрой сосны!
Эта жизнь –
и дороги,
и старая шляпа,
и гнутая трубка
из просторов тайги и воды сплетены.

Может, здесь,
может, там, в рудниках слюдяных,
может, в просеках жарких
он нашел, что хотел,
что бурят и помор –
и прапрадед, и пращур – искал...

Эти руки так ловко берут
и топор, и штурвал, и лопату.
А глаза у обветренных скул,
словно брызги Байкала у скал.

* * *

Бетон и бирюза –
шоссе над Енисеем.
Бетон живет труднее бирюзы.
Спит бирюза внизу,
а по бетону
змеем
вползает туча, полная грозы...

Дорога дерзости!
За крутизну и скалы –
тревожным росчерком,
трубящей белизной!
И даль седых Саян,
как грань кристалла,
пробита и манит
дорогою сквозной.

Но впереди
еще тайга и топи.
Там все сначала –
трактор
и топор.
Идти,
зарубкой отмечая тропы,
завал забот взвалить на плечи гор,
вести грузовики за облаками,
где грозен хрип ветров
и груб мотора стон,
чтоб острие дорог
прошло между веками
и с красотой Саян
спаялся наш бетон.

* * *

Ювелиры северных рек!
Грань за гранью
гранят водяные дороги,
шаг за шагом,
версту за верстой
караваны ведут у таежных отрогов.

Вот глаза их,
наполненные до краев
глубиною стремнины и водоворотов,
разводящие крепкие струи дождя,
отводящие космы тумана,
как створки в огромных воротах.

Вот их руки,
вот пальцы, протянутые, как лучи.
К порыжевшим, замасленным линиям лоций,
к пульсу жарких машин,
к пульту чутких приборов
свет лучей этих льется.

Было б только под днищем
воды на ладонь,
баржу в тысячу тонн
за три тысячи метров
проведут они, мшистых камней не задев,
сквозь стремнину воды и студеного ветра.

Там, где скалы опустят на реку щиты,
напряженные струи, как струны, порезав,
беззащитно
железо тяжелых судов,
и спасает его
умной воли железо.

...Ювелиры
в тулупах на вахтах ночных
через осыпи звезд,
под Полярной звездою
караваны на Север ведут
нетореной дорогой седою.

* * *

Металл, как губка, впитывая труд,
ложится слитком,
тянется в струну...
Лишь руки человека придают
упругость – стали,
благородство – сплавам
и золоту – цену.

Металл – стихия:
в нем сплелись узлом
бездушье, красота, бестрепетность и дрожь.
Металл – хамелеон:
сегодня ржавый лом,
а завтра – плуг и серп,
а завтра – меч и нож.

Металл – игрушка, банка для конфет
и трос,
протянутый из наших дней в мечту,
он плоть и мозг космических ракет
с орбитой, устремленной в пустоту.

Все это буйство скрытых свойств и сил
клубится,
сжатое в ладонях твердых рук, –
его связал,
скрутил и подчинил
металлом опаленный металлург.

Не сталь,
не алюминий,
не вольфрам –
все это сплав труда, ночей и дней,
все это мысль с металлом пополам,
пронизанная светом до корней.

* * *

И заварило кашу на Оби
из лихтеров,
буксиров,
самоходок,
из рыб...
Все перемешано в глуби,
в крутом котле колючей непогоды!

Невпроворот железных круп,
и соль
крупней ореха вдосталь с неба сыплет.
И рулевые рвутся
через боль
и через страх,
что полной чашей выпит.

Пробиться на вершок, на метр, на ярд
туда,
где шторм втройне свиреп и страшен,
где, стиснув зубы, терпит Салехард
глухой ожог
смоленой обской каши!

* * *

Узор досок убог и сер.
Калитка открывалась в бездну.
И пением небесных сфер
был ржавых петель скрип железный.

Открыл – и сапоги ступают
на синь, что налита в долинах.
И взгляд летит, скользнув по краю,
за взмах тайги, за горный вымах...

Так начинает день искатель.
Он отпирает родники
и наблюдает, как из капель
родится полотно реки.

Руками в ссадинах и глине
он раздвигает створы скал –
узнать, как в каменной пучине
цветет и зреет минерал.

Он мерзнет в медленном тумане,
он жгучий луч отодвигает,
а там –
в долине,
в синем чане –
смолистый полдень закипает...

И далеко поет калитка
о всех, кто ищет и искал,
чей след над зыбкой бездной выткан
и врезан в древний камень скал.

* * *

Просыпается,
ворочается
силища речная,
забуравливает воду,
пену гонит к берегам.
Лесовозы да буксиры, да посудина другая –
все расталкивают ветер,
и на север
путь их по зыби норовист и упрям.

По воде ли, замутненной половодьем,
по заре ли, озарившей полнебес,
через солнце ли,
сквозь лунные ободья
отплывают,
уплывают,
улетают,
покидают
смех причалов
и печаль обжитых мест.

Музыка прощания простая:
флагом и брезентами треща,
выйти,
брызги с мачты отряхая,
в серые разливы Иртыша!

Огуречен запах краски белой,
Душен выхлоп дизеля,
шлепок волны так резок!
Началось
сквозистое,
речное наше дело.

Сплетено из туч оно,
из ветра и железа.

Не захочешь, не уйдешь от его ласки грубой
и от нежности
с пинками вперебой
там, где океан
целует в губы
неприветливою
Обскою губой.

Содержание

НЕСКОЛЬКО ВСТУПЛЕНИЙ К ТЕМЕ ЖИЗНИ

ДВА ДЕЛА 7
СТАТЬ НАЧАЛОМ 8
ВОСТОЧНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ О ЖИЗНИ 10
ЖИЗНЬ 11
ЖИЗНЬ И ВЕЧНОСТЬ 12
КНИГА ЖИЗНИ 13

I. ГЛАЗА ДЕТСТВА

Утром... 17
ПРОДОЛЖЕНИЯ 18
ПОГЛОЩЕНЬЕ 19
ОТКРОВЕНИЯ 20
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ 22
Для нее нет мелочей... 24
Она спит в коляске... 26
Два мира со мной... 27
Передвижение с детьми на поездах... 29
Там, на лугу среди теплых цветов, извилистых трав
и синевы – девочка... 31
Спящий ребенок... 32
Было солнце... 33
Медали чеканят для того... 34
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 35
Природа так же наивна, как ребенок... 36
Не надо ветки обрезать... 37

II. ЛИК СТАРОСТИ

Колючий сад... 41
Метель... 42
Лицо за решеткой тяжелых морщин... 44

СТАРОСЕЛЬЕ СТАРУХ

ОСЕНЬ 47
СЕСТРА ОКЕАНА 48
Мир старых фотографий молод... 50
ВЕДУНЬЯ ТРАВ 51
КРАСАВИЦА 53
СТАРУХА 54

Старуха точит косу... 56
СРЕТЕНЬЕ 57
Звериные шкуры... 58

СТАНОВИЩЕ СТАРИКОВ

ЧУМ 61
ОРГАННАЯ МУЗЫКА 63
Старый лекарь деревьев... 65
ЧАСОВЩИК 66
Он сторожит арбузы... 68
Приходит к старости... 69
СЕВЕРЬЯН 70
С палочкой-копалочкой... 71
В косом оконце... 72
О почему же, проходя мимо лотков... 74
Дележ наследства в доме престарелых... 75
Не жизнь, а жухлый том «записок»... 77
Кижи мертвы... 78
Река еще жива... 80

III. ВЗОР ЮНОСТИ

Я люблю переулок... 83
АДРЕС ШЕКСПИРА 84
На Север... 86
Скрипучие блоки пропели: «Прощай»... 87
Не доверяй... 88
БЕРИНГОВО МОРЕ 89
КРАСКИ СЕВЕРА 90
Ни росчерка... 91
ВОДА И ВЕТЕР 92
СОН О ПТИЦЕ 93
Какое веселое... 94
Через июльские покровы... 95
Радость первого снега... 96
Лето пахнет шпанской мухой... 97
Зеленым филином уселся можжевель... 98
Окно открою... 99
Кто там ходит всю ночь на ходулях... 100
Кусты и деревья – горшки и кувшины... 101
Лето льется... 102
Развозит дороги... 104
Родятся горы, глина и вода... 105
Веселых стекляшек апрель нанизал... 106
Безветрием надут черемуховый парус... 107
По колено яблони в воде... 108
Еще все было впереди... 109
Как саженцы тощи... 110

IV. ЗЕРКАЛО ЗРЕЛОСТИ

ПРОСТОРЫ

РОЖДЕНЬЕ РЕК ... 115
Кто шаманит... ... 116
Много красок не надо... ... 118
КОЛОКОЛ ... 120
Жгут листья... ... 121
О маленькое чудо осени... ... 122
Аптекарский настой осеннего болота... ... 123
И двигатели грянули в там-там... ... 124
На путях мороз еще свирепей... ... 125
Сядь вечером, зарей оплавленным... ... 126
Заторосило реку... ... 127
БАРХАТНАЯ ТИШИНА ... 128
Что за лакомство – боярышник... ... 129
Не лицемерит мерзлота ни в чем... ... 130
На картофельном поле... ... 132
АПРЕЛЬ ... 133
От угля синих звезд... ... 134
Мне дайте пеночку... ... 135
Этот берег... ... 136
Поджарые сосны и тощий вереск... ... 137
Тала́ из свежего сига... ... 138
Большой нелепый город... ... 139
Птицы сирин и феникс, и жар... ... 140
В июне топим печь... ... 141
День свеж и рыж... ... 142
Был Урал... ... 143
Разверзлись дали... ... 145

ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ

ЗАКЛИНАНЬЕ ... 149
ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА ... 150
Все глубже погружаюсь в годы... ... 152
ТИХИЕ ДАРЫ ... 153
КОРОБ ... 154
Мы там еще живем... ... 155
ТАИНСТВО ПЛОТИ ... 156
Не жалей о сделанном... ... 159
Отцвел багульник... ... 160
ЗЛО ... 161
СКОРЛУПА СЕБЯЛЮБИЯ ... 163
Купите, что хотите – чреда вещей пестра... ... 164
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ... 165
Почаще делайте, как хочется... ... 168
Есть горе слезное... ... 169

ЧАСЫ ВЕСНЫ ... 170
По-зверьи уходить в леса... ... 171
ОСЫ ... 172
Когда поймется: больше не могу... ... 173
ПРОРУБЬ ... 174
Доверьтесь незнакомым... ... 175
Есть лоция моря... ... 176
Как странно простирают рукава... ... 177
Прихожу проходить курс лечения... ... 178
Когда душа переболеет... ... 179
Восход, закат ли – равно медны... ... 180

ПОСТУПЬ ЛЮБВИ

Смыкаются невидимые двери... ... 183
Из дыма волосы... ... 184
Забыл слова, забыл напев я... ... 185
Нет, это не для слуха... ... 186
В эту ночь, что черна и бела... ... 187
Я боюсь поездов... ... 188
На пашне – яблонь лепестки... ... 189
Разве что-нибудь значит... ... 190
Был хворост... ... 191
Хочу стать кувшином... ... 192
Колечко – в колодец... ... 193
Под утро дождь... ... 194
В березах... ... 195
Ярость солнца азийского... ... 196
Не берегут любимых... ... 197
Весь день был снегопад... ... 198
ВЕШНЯЯ ТАЛОСТЬ ... 199
Все знаю: там руки и губы в малине... ... 200
Стать дурочкой... ... 201
Как мы хохотали... ... 202

СЕВЕРНАЯ СВИРЕЛЬ

Водорослей принесу и листьев... ... 205
Тайга пахнёт пчелиным ядом... ... 206
Завешены дали дымком диковатым... ... 207
Беззвездие... ... 208
ТАК НЕ БЫВАЕТ... ... 209
Весенний грохот лыж о наст... ... 210
На Лене лед... ... 211
Приишимье завернулось в индевелый лен берез... ... 212
На взлетном поле пахло морем... ... 213
УПЛЫВАЕТ НА ЛЬДИНЕ... ... 214
ЭТОТ ДЕНЬ ... 215
Я прилечу в сиреневом апреле... ... 217

ПРОЩАНЬЕ ... 218
Резко пахнут акварелью... ... 219

ЛЮДИ И ЛИЦА

Если б на стене... ... 223
Таинственно и тихо... ... 224
Я знаю нескольких... ... 225
А человека нет... ... 226
ЛИЦА ... 227

ВЕЩИ

Где грань... ... 231
Извлечение звуков... ... 232
Боюсь владельцев дач... ... 233
ЖЕСТЯНАЯ МЕЧТА ... 234
СРЕДИ ВЕЩЕЙ ... 235
Есть у вещей дремучая душа... ... 237

ОБИТАЛИЩА

Городишко... ... 241
ЖИЛЬЕ ЧЕЛОВЕКА ... 242
Лавчонка «Семена»... ... 244
Был дом, как елочный фонарь... ... 245
СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНЬЕ ... 247
РЕСТОРАН ... 248
У каждого музея краеведенья... ... 249
ЧУЖОЙ МИР ... 250
Мир закоулков привокзальных... ... 252
Поедем в город грибников... ... 253
Платформа. Ночь... ... 254
ГДЕ-ТО... ... 255

КАЗЕННЫЕ МОТИВЫ

В бессмысленной настырной толчее... ... 259
ТРЕЗВЕННОСТЬ ... 260
ПЕРВЫЙ СНЕГ ... 261
Учитесь у осенних мух... ... 262
ИНОГДА ... 263
Помпезный праздник словоблудия... ... 265
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ... 266
Казенный небосвод казенных звезд... ... 268
ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ ... 269

ИЗВЕСТНОСТЬ

ИЗВЕСТНОСТЬ ... 273
...И человек становится великим... ... 275

Славьте мертвых... 276
Убеждали творца-современника люди... 277
Сжечь рукопись... 278
О ВЕЛИКИХ 279
Талантливые неудачники... 281

ПАМЯТНИКИ

Все памятники... 285
Громоздились гробницы... 286
ПАМЯТНИК ПОЭТУ 287
МАСТЕРА НАДГРОБИЙ 288
Он там сидит... 290

ТРЕВОГИ ТРУДОВ

Подмастерьем бы стать у Байкала... 293
ТЕТКИН САД 295
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ 296
ЗЕМЛЯ 297
Дырявый накомарник... 299
КАФЕ В ТУНДРЕ 300
Душистый воск еще незрелой мысли... 301
Кто дает названия буксирам... 302
Погасли горы... 303
ПЕЧАТНИКИ 304
Это помесь бурят и поморов... 306
Бетон и бирюза... 307
Ювелиры северных рек... 308
Металл, как губка, впитывая труд... 310
И заварило кашу на Оби... 311
Узор досок убог и сер... 312
Просыпается... 313

В книге использованы фотоматериалы из архива Николая Димчевского.

Приглашаем читателей посетить сайт Николая Димчевского

http://dimchevsky.ru/

Книги Николая Димчевского можно заказать по телефонам:

+7 (903) 238-21-60

+7 (921) 355-96-48